

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 46

1988



Пантелеймон РОМАНОВ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БЕЗ ЧЕРЕМУХИ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 46

Пантелеймон РОМАНОВ

БЕЗ ЧЕРЕМУХИ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Пантелеймон РОМАНОВ

(1884—1938)

Имя Пантелеймона Романова было широко известно в двадцатых и начале тридцатых годов как в нашей стране, так и за рубежом.

Безоговорочно приняв Октябрьскую революцию, Пантелеймон Романов в ту пору, несмотря на свой зрелый возраст, еще мало печатавшийся, испытал большой творческий подъем и создал лучшие произведения. Именно на двадцатые годы падает расцвет его писательского дарования. «Революция дала мне второе рождение», — отмечал Пантелеймон Романов в одной из своих автобиографий. Дважды в двадцатых годах выходили собрания сочинений Пантелеймона Романова — в 1926—1927 гг. в издательстве «Никитинские субботники» и в 1929—1930 гг. в издательстве «Недра».

Пантелеймон Сергеевич Романов родился в небольшом имении своего отца — селе Петровском Одоевского уезда Тульской губернии. Имение это впоследствии было продано, и отец стал служить писцом в Белевской городской управе. В Белеве же будущий писатель начал учиться — в городском училище им. В. А. Жуковского: из окон училища был виден дом, построенный в Белеве по этому. Затем П. Романов поступил в тульскую гимназию, в которой провел восемь лет; учился он плохо, и его не раз оставляли в классе на повторный срок.

В годы детства писателя его отец приобрел близ деревни Карманье, неподалеку от Белева, хутор; на этом хуторе П. Романов познал всегда воодушевляющую его русскую природу, рыбную ловлю и охоту, окупнулся в гущу народной жизни. Тогда-то и закладывалось у него превосходное знание народного языка, каким он блистал впоследствии.

Всего полгода П. Романов пробыл на юридическом факультете Московского университета. Университет его не увлек; юноша вынашивал грандиозные писательские планы, самостоятельно изучал великих русских писателей. По свидетельству П. Романова, он «изучал человеческое лицо, типы характеров», старался уяснить себе в творчестве русских писателей «то общее в них, что делает их произведения ясными, простыми и вечно живыми». Умение глядеться в окружающую действительность П. Романов считал важнейшим свойством писателя и позднее даже работал над особой книгой «Наука зрения», которая, по-видимому,

осталась незаконченной. В 1911—1914 гг. П. Романов напечатал первые свои рассказы в журнале «Русская мысль». Он был тогда, по существу, сложившимся писателем, но систематически стал печататься только после революции, оставив службу в банке, а потом в органах Наркомпроса.

Вынашиваемые в юности литературные планы вылились у П. Романова в эпопею «Русь». В пяти изданных томах этой эпопеи широкой кистью нарисована картина предреволюционной России, крестьянская и помещичья жизнь; книгу пронизывает глубокое лирическое чувство, слышится своеобразный гимн родине и русской природе. Как писал А. В. Луначарский, некоторые главы эпопеи поднимались до «чрезвычайно высокой художественности». К «Руси» примыкает и повесть «Детство» (1926), вещь, исполненная как бы акварельными красками и отражающая русский мелкопоместный быт. В известном смысле ее можно сопоставить с «Детством Никиты» А. Толстого.

Большую популярность обретают в двадцатых годах лирико-психологические и юмористические рассказы Пантелеймона Романова. Озабоченный судьбой социальных завоеваний революции, писатель без пощадки обличает обычаи, невежество, косность, безрукость, бюрократизм, дурные навыки и привычки как широких народных слоев, так и «начальства», незадачливых руководителей всевозможных учреждений и организаций. Пафос этих рассказов, вызывающих в памяти новеллистику М. Зоценко, но отличающихся особым, романовским тембром, — пафос этих рассказов заключен в страстном желании вывести, истребить родимые пятна в психологии и быту народа. Один за другим выходили сборники сатирических рассказов П. Романова — «Русская душа», «Спекулянты», «Заколдованные деревни», «Хорошие места».

Не меньшей популярностью пользовались произведения писателя на тему любви. Тема эта в связи с тогдашними веяниями среди городской молодежи, слишком легко, бездумно и «свободно» смотревшей на отношения полов, была большой, трудной темой, и большинство писателей, бравшихся за нее, терпели неудачу. У П. Романова посвящены ей повести «Новая скрижаль» (1928), «Товарищ Кисляков» (1930), а, главное, сборник рассказов «Без черемухи» (1927). Далеко не все в этих произведениях П. Романова написано верно и неоспоримо, есть в них и чисто художественные просчеты. Критика резко тогда обрушивалась на писателя; выражение «без черемухи», «черемуха» с появлением рассказа П. Романова стало на долгое время расхожим. Но, читая этот рассказ в наши дни, видишь, насколько чиста, благородна была позиция автора, отстаивавшего красоту и духовность любовного чувства, его истинную романтику. В пылу полемики критика двадцатых годов словно бы не заметила этого, обвиняя П. Романова, как и других писателей, лишь в смаковании негативных явлений среди молодежи той поры.

Пантелеймон Романов был замечательным исполнителем, чтецом своих новелл на эстраде. Старейшие наши литераторы рассказывали мне, с каким необычайным жаром и восторгом принимала его аудитория клубов, где он выступал. «Публика замирала, завороженная этим негромким тенором, который заставляет зал плакать или смеяться, негодовать или сочувствовать», — писал

в 1966 году Виктор Ардов, не раз выступавший на эстраде вместе с Пантелеймоном Сергеевичем. В. Ардов сравнивает мастерство Романова-чтеца лишь с искусством Яхонтова или Игоря Ильинского. А сам писатель признавал, что его рассказы умеет читать только И. М. Москвин. Надо сказать, что такое мастерство давалось П. Романову ценой долголетней выучки, не в силу стихийного дара. Часть юмористических рассказов П. Романова, которые слышал с эстрады В. Ардов, по его суждению, так в печати и не появилась.

Рапповцы неизменно считали П. Романова только «попутчиком», устраивали ему разномы, всячески подрывая его авторитет вопреки популярности писателя в читательской среде. Несправедливые насочки и заушательства тогдашних администраторов от литературы нередко порождали в душе писателя чувство униженности и обиды.

Пантелеймон Романов скончался в Москве 3 апреля 1938 года в результате тяжелого заболевания лейкемией. Ему было тогда неполных пятьдесят четыре года. Он еще успел выступить на Первом съезде писателей и издать в 1935 году последний свой прижизненный сборник рассказов.

А. В. Луначарский говорил о Пантелеймоне Романове: «Я люблю этого писателя за живость его, за юмор и за прекрасный русский язык».

Скупая подборка рассказов П. Романова в нашей книжке представляет его читателю как мастера бытовой, психологической прозы и как замечательного, оригинального сатирика.

Николай БАННИКОВ

БЕЗ ЧЕРЕМУХИ

I

Нынешняя весна такая пышная, какой, кажется, еще никогда не было.

А мне грустно, милая Веруша.

Грустно, больно, точно я что-то единственное в жизни сделала совсем не так...

У меня сейчас на окне общежития в бутылке с отбитым горлом стоит маленькая смятая веточка черемухи. Я принесла ее вчера... И когда я смотрю на эту бутылку, мне почему-то хочется плакать.

Я буду мужественна и расскажу тебе все. Недавно я познакомилась с одним товарищем с другого факультета. Я далека от всяких сантиментов, как он любит говорить; далека от сожаления о потерянной невинности, а тем более — от угрызения совести за свое первое «падение». Но что-то есть, что гложет меня, — неясно, смутно и неотступно.

Я потом тебе расскажу со всей «бесстыдной» откровенностью, как это произошло. Но сначала мне хочется задать тебе несколько вопросов.

Когда ты в первый раз сошла с Павлом, тебе не хотелось, чтобы твоя первая любовь была праздником, дни этой любви чем-нибудь отличены от других, обыкновенных дней?

И не приходило ли тебе в голову, что в этот первый праздник твоей весны оскорбительно, например, ходить в нечищенных башмаках, в грязной или разорванной кофточке?

Я спрашиваю потому, что все окружающие меня мои сверстники смотрят на это иначе, чем я. И я не имею в себе достаточного мужества думать и поступать так, как я чувствую.

Ведь всегда требуется большое усилие, чтобы поступать вразрез с принятым той средой, в которой ты живешь.

У нас принято относиться с каким-то молодецким пренебрежением ко всему красивому, ко всякой опрятности и аккуратности как в одежде, так и в помещении, в котором живешь.

В общежитии у нас везде грязь, сор, беспорядок, смятые постели. На подоконниках — окурки, перегородки из фанеры, на которой мотаются изодранные плакаты, объявления о собраниях. И никто из нас не

пытается украсить наше жилище. А так как есть слух, что нас переведут отсюда в другое место, то это еще более вызывает небрежное отношение и даже часто умышленно порчу всего.

Вообще же нам точно перед кем-то стыдно заниматься такими пустяками, как чистое красивое жилище, свежий, здоровый воздух в нем. Не потому, чтобы у нас было серьезное дело, не оставляющее нам ни минуты свободного времени, а потому, что все связанное с заботой о красоте мы обязаны презирать. Не знаю, почему обязаны.

Это тем более странно, что ведь наша власть, нищая, пролетарская власть, затрачивает массу энергии и денег, чтобы сделать именно все красивым: повсюду устроены скверы, цветники, каких не было при правительстве помещиков и капиталистов, хваставшихся своей любовью к изящной, красивой жизни; вся Москва блещет чистотой отштукатуренных домов, и наш университет, — сто лет стоявший, как ободранный участок, при старой власти, — теперь превратился в красивейшее здание Москвы.

И мы... чувствуем невольную гордость оттого, что он такой красивый. А между тем в нашей внутренней жизни, внутри этих очищенных нашей властью стен, у нас царит грязь и беспорядок.

Все девушки и наши товарищи-мужчины держат себя так, как будто боятся, чтобы их не заподозрили в изяществе и благородстве манер. Говорят нарочно развязным, грубым тоном, с хлопаньем руками по спине. И слова выбирают наиболее грубые, используя для этого весь уличный жаргон, вроде гнусного словечка «даешь».

Самые скверные ругательства у нас имеют все права гражданства. И когда наши девушки — не все, а некоторые, — возмущаются, то еще хуже, — потому что тогда нарочно их начинают «приучать к родному языку».

Заслуживает похвалы только тон грубости, циничной развязности с поправлением всяких сдерживающих правил. Может быть, это потому, что мы все — нищая братия, и нам не на что красиво одеться, поэтому мы делаем вид, что нам и плевать на все это. А потом, может быть, и потому, что нам, солдатам революции, не до нежностей и сантиментов. Но опять-таки, если мы солдаты революции, то как-никак прежде всего мы должны были бы брать пример с нашей власти, которая стремится к красоте жизни не ради только самой красоты, а ради здоровья и чистоты. И потому этот преувеличенно приподнятый, казарменно-молоческий тон пора бы бросить.

Но ты знаешь, большинству нравится этот тон. Не говоря уже о наших мужчинах, он нравится и девушкам, так как дает больше свободы и не требует никакой работы над собой.

И вот это пренебрежение ко всему красивому, чистому и здоровому приводит к тому, что в наших интимных отношениях такое же молодечество, грубость, бесцеремонность, боязнь проявления всякой человече-

ской нежности, чуткости и бережного отношения к своей подруге — женщине или девушке.

И все это из-за боязни выйти из тона неписаной морали нашей среды.

У тебя в консерватории все иначе. Я иногда жалею о том, что перешла в университет. И часто думаю, что если бы моя мать, деревенская повитуха, смотрящая на меня с набожной робостью, как на высшее существо, услышала бы, как у нас ругаются самыми последними словами и живут в грязи — что бы она подумала?..

Любови у нас нет, у нас есть только половые отношения, потому что любовь презрительно относится у нас к области «психологии», а право на существование у нас имеет только одна физиология.

Девушки легко сходятся с нашими товарищами-мужчинами на неделю, на месяц или случайно — на одну ночь. И на всех, кто в любви ищет чего-то большего, чем физиология, смотрят с насмешкой, как на убогих и умственно поврежденных субъектов.

II

Что он собой представляет? Обыкновенный студент, в синей рубашке с расстегнутым воротом, в высоких сапогах. Волосы всегда откидываются небрежно рукой назад.

Он привлек мое внимание своими глазами. Когда он бывал один и ходил где-нибудь по коридору, в нем чувствовалась большая серьезность и большое спокойствие.

Но как только он попадал туда, где была молодежь, он становился, как мне казалось, преувеличенно шумлив, развязен, груб. Перед девушками он чувствовал себя уверенным, потому что был красив, а перед товарищами — потому что он был умен. И он как бы боялся в их глазах не оправдать свое положение вожака.

В нем как бы было два человека: в одном — большая серьезность мысли, внутренняя крепость, в другом — какое-то пошлое, раздражающее своей наигранностью гарцевание, стремление выказать презрение к тому, что другие уважают, постоянное желание казаться более грубым, чем он есть на самом деле.

Вчера мы в первый раз пошли в сумерки вместе. Над городом уже спускалась вечерняя тишина, когда все звуки становятся мягче, воздух — прохладнее и из скверов тянет свежим весенним запахом сырой земли.

— Зайдем ко мне, я живу недалеко, — сказал он.

— Нет, я не пойду.

— Этикет?..

— Никакой не этикет. Это во-первых. А во-вторых, сейчас так хорошо на воздухе.

Он пожал плечами.

Мы вышли на набережную и несколько времени стояли у решетки. Подошла девушка с черемухой, я взяла у нее ветку и долго дождалась сдачи. А он стоял и, чуть прищурившись, смотрел на меня.

— Без черемухи не можешь?

— Нет, могу. Но с черемухой лучше, чем без черемухи.

— А я всегда без черемухи, и ничего, недурно выходит, — сказал он, как-то неприятно засмеявшись.

Впереди нас стояли две девушки. Шедшие целой гурьбой студенты обняли их, и, когда те вырвались от них, студенты, захохотав, пошли дальше и все оглядывались на девушек и что-то кричали им вдогонку.

— Испортили настроение девушкам, — сказал мой спутник, — без черемухи к ним подошли, вот они и испугались.

— А почему вам так неприятна черемуха? — спросила я.

— Ведь все равно это кончается одним и тем же — и с черемухой и без черемухи... что же канитель эту разводить?

— Вы говорите так потому, что никогда не любили.

— А зачем это требуется?

— Так что же вам в женщине тогда остается?

— Во-первых, брось ты эти китайские церемонии и говори мне — «ты», а, во-вторых, в женщине мне кое-что остается. И, пожалуй, немало.

— «Ты» я вам говорить не буду, — сказала я. — Если каждому говорить «ты», в этом не будет ничего приятного.

Мы проходили за кустами сирени. Я остановилась и стала прикалывать к кофточке веточку черемухи. Он вдруг сделал быстрое движение, закинул мне голову и хотел поцеловать:

Я оттолкнула его.

— Не хочешь — не нужно, — сказал он спокойно.

— Да, я не хочу. Раз нет любви, то ведь вам решительно все равно, какую женщину ни целовать. Если бы на моем месте была другая, вы бы также и ее захотели целовать.

— Совершенно правильно, — ответил он. — Женщина тоже целует не одного только мужчину. У нас недавно была маленькая пирушка, и невеста моего приятеля целовала с одинаковым удовольствием как его, так и меня. А если бы еще кто-нибудь подвернулся, она и с тем бы точно так же. А они женятся по любви, с регистрацией и прочей ерундой.

Все мое существо возмущалось, когда я слушала, что он говорил. Мне казалось, что я уже не так безразлична для него, сколько раз я встречала его взгляд, который всегда находил меня, когда я была даже

в тесной толпе университетской молодежи. И зачем нужно было портить этот необыкновенный весенний вечер, когда хочется не грубых, развязных, а нежных и тихих слов.

Я его ненавидела. Но в это время мы проходили мимо какой-то дамы, сидевшей в полумраке на скамеечке. Она сидела, закинув высоко ногу на ногу в шелковых чулках и поднимала всякий раз голову на тех, кто проходил мимо.

Мой спутник продолжительно посмотрел на нее. Она тоже взглянула на него. Потом он, отойдя на некоторое расстояние, еще раз оглянулся на нее. Я почувствовала какой-то укол.

— Давай сядем здесь, — сказал он, подходя к следующему диванчику. Я поняла, что он хочет сесть, чтобы взглядывать на нее.

Мне вдруг почему-то стало так нехорошо, что хотелось плакать, сама не знаю почему. Не зная, что со мной делается, я сказала:

— Мне не хочется идти с вами... До свидания, я пойду налево. Он остановился, видимо, озадаченный.

— Почему? Тебе не нравится, что я так откровенно говорю? Лучше прикрашивать и врать?

— Очень жаль, что у вас нет ничего, что не нуждалось бы в прикрашивании.

— Что ж поделаешь-то, — сказал он, как бы не сразу поняв, что я сказала. — Ну, что же, в таком случае до свидания. Только зря, — прибавил он, задержав мою руку в своей... — Зря, — и, бросив мою руку, пошел, не оглядываясь, к своему дому.

Этого я тоже не ожидала. Я думала, что он не уйдет.

Я остановилась на углу бульвара и посмотрела кругом. Была одна из тех майских ночей, когда кажется, что все кругом тебя живет неповторимой жизнью.

На небе в теплом, мгlisto-желтом свете стояла полная луна с легкими хлопчатými облаками. Неясные, призрачные дали терялись в мгlistом полусвете над крышами домов, дворцов и кремлевских башен. И редкие огни летних улиц точно были ослеплены светом луны.

И везде — в темноте под деревьями и на ясно освещенной площадке сквера перед собором — веселые группы молодежи, отдельных парочек, сидящих на решетчатых садовых диванчиках глубоко под низкими, кругло стриженными деревьями и кустами сирени.

Слышен говор, смех, виднеются вспыхивающие огоньки папирос, и кажется, что все эти люди заряжены, переполнены возбуждающей теплотой этой ночи, и нужно, не теряя ни одной минуты, с упоением вдыхать аромат ее.

И когда тебе нечем ответить этой ночи, когда в тебе пустота и унылое одиночество, когда все вместе и только ты одна, — тогда ничего не может быть хуже и тоскливее.

Всего несколько минут назад его присутствие было для меня безразлично. А с того момента, как я увидела, что он так смотрел на ту даму, я вдруг почувствовала какую-то боль, беспокойство, близость слез, потерею всякой воли, и мне уже не нужно было ничего, кроме того только, чтобы он был со мной.

Одним словом — ты не осудишь меня — мне было невыносимо чувствовать себя среди этого весеннего праздника природы какой-то отверженной, выброшенной из общего хора.

Не отдавая себе отчета, я повернулась и быстро пошла по направлению к его дому.

III

Я шла, все ускоряя шаги, с одной мыслью, что я опоздаю, он уйдет, и я останусь одна. А главное — наша встреча так нелепо оборвалась, и я почти грубо оттолкнула от себя человека, не сделав никакого усилия для того, чтобы повлиять на него в хорошую сторону.

Мне пришла в голову мысль, что я, не прилагая усилия в этом направлении, поступаю точно так же, как мы поступаем с окружающей нас обстановкой, когда не делаем ничего для ее улучшения. Значит, я хочу получить лучшее без малейшей затраты энергии для этого.

Я вошла в темный подъезд старого каменного дома, откуда пахло, после теплого, точно гретого воздуха майской ночи, еще зимним холодом непрогретых стен.

Это такой подъезд, каких еще много в Москве и теперь: немытые много лет пыльные стекла входных дверей с остатками приклеенных объявлений, грязная затасканная лестница с пылью, окурками, с карандашными надписями.

Он совершенно не ожидал увидеть меня. И, видимо, готовился сесть за работу. У стены стоял сколоченный из тонких досок узенький стол, похожий на козлы-подмости, которыми маляры пользуются при окраске стен. Над столом была электрическая лампочка на спускающемся с потолка шнуре, притянутая со середины комнаты и прикрепленная к гвоздю в стене над столом.

— О, да ты герой! — воскликнул он. — Передумала, видно? Тем лучше

Он, засмеявшись, подошел ко мне и взял за руку. То ли он хотел ее поцеловать, то ли погладить, но не сделал ни того, ни другого.

— Мне неприятно, что мы поссорились, — сказала я, — и мне захотелось это загладить.

— Ну, чего там заглаживать. Постой, я повешу записку на дверь, а то ко мне могут прийти.

Он, стоя у стола, написал записку и вышел, а я, оставшись одна в комнате, обвела ее взглядом.

Эта комната имела одинаковый характер с лестницей: на полу валялись неподметенные окурки, клочки бумаги, виднелись следы понатасканной со двора сапогами пыли, все стены исписаны номерами телефонов или росчерками карандаша. У стен так же, как и у нас в общежитии, смятые непокрытые постели, на окнах — грязная неубранная посуда, бутылки из-под масла, яичная скорлупа, жестяные чайники.

Я чувствовала себя неловко, никак не могла придумать, что я ему скажу, когда он войдет, а ничего не сказать было неудобно, так как это могло придать совершенно другой оттенок моему посещению.

И тут мне сейчас же пришла мысль, зачем он, в самом деле, пошел вешать записку на дверь? Что такого, если бы кто-нибудь и пришел?

Я вдруг поняла, зачем. У меня при этой мысли потемнело в глазах и перехватило дыхание. Я напряженно, с бьющимся сердцем прислушивалась, подошла к окну. Хотела было убрать с подоконника бутылки и папиросные коробки, чтобы можно было сидеть, и увидела, что у меня дрожат руки. Но я все-таки сняла все и легла грудью на подоконник.

Сердце билось, уши напряженно ловили каждый звук за спиной. Во мне была неизвестная мне раньше взволнованная напряженность ожидания.

Мне было только неприятно, что лучшие минуты моей жизни, моего первого счастья, быть может, мой первый день любви — среди этих заплеванных грязных стен и тарелок с остатками вчерашней пищи.

Поэтому, когда он вошел, я стала просить его пойти отсюда на воздух.

На его лице мелькнули удивление и досада.

— Зачем? Ведь ты только что была там.

А потом изменившимся торопливым голосом прибавил:

— Я устроил, что сюда никто не придет. Не говори глупостей. Никуда я тебя не пущу.

— Мне неприятно здесь быть...

— Ну вот, начинается...— сказал он почти с раздражением.— Ну, в чем дело? Куда ты?

Голос у него был прерывающийся, торопливый, и руки дрожали, когда он хотел удержать меня.

У меня тоже дрожали руки и билось до темноты в глазах сердце. Но было точно два каких-то враждебных настроения: одно выражалось в волнении и замирании сердца от сознания, что мы одни с ним в комнате и сюда никто не придет, другое — в сознании, что все не так: и его воровски поспешный шепот, и жадная торопливость, и потеря обычного вызывающего спокойствия и самообладания. Как будто он думал только об одном, чтобы успеть до прихода товарищей. А при малейшем упорстве с моей стороны у него мелькало нетерпеливое раздражение.

Мы, женщины, даже при наличии любви, не можем относиться слишком прямолинейно к ф а к т у. Для нас факт всегда на последнем месте, а на первом — увлечение самим человеком, его умом, его талантом, его душой, его нежностью. Мы всегда хотим сначала слияния не физического порядка, а какого-то другого. Когда же этого нет и женщина все-таки уступает, подчинившись случайному угару голой чувственности, тогда вместо полноты и счастья чувствуется отвращение к себе. Точно ощущение какого-то падения и острая неприязнь к мужчине, как нечуткому человеку, который заставил испытать неприятное, омерзительное ощущение чего-то нечистого, отчего он сам после этого становится пропитан, как участник в этом нечистом, как причина его.

Мне все уже мешало: и непокрытые постели, и яичная скорлупа на окнах, и грязь, и его изменившийся вид, и уже отчетливое сознание, что все это происходит не так, как следовало бы.

— Я не могу здесь оставаться!.. — сказала я почти со слезами.

— Что же тебе нужно? Хорошая обстановка? Поэзии не хватает? Так я не барон какой-нибудь... — ответил он уже с прорвавшейся досадой и раздражением.

Очевидно, мое лицо изменилось от этого его окрика, потому что он сейчас же торопливо, как бы стараясь сгладить впечатление, прибавил:

— Ну, будет тебе, что, правда... скоро могут прийти.

Нужно было решительно уйти. Но во мне, так же как и в нем, было то противное чувство голого желания от сознания того, что мы одни с ним в комнате. И я, обманывая себя, не уходила, точно я ждала, что что-то может перемениться...

— Постой, я тебе сейчас устрою поэзию, — сказал он и погасил лампу.

От этого, правда, стало лучше, потому что не бросались в глаза постели, бутылки из-под постного масла и окурки на полу.

Я подошла к окну и с бьющимся сердцем и ничего не видящими глазами стала к нему спиной.

За моей спиной было молчание, как будто он не знал, что ему делать. Сердце у меня так билось, что отдавалось в ушах, и я с напряжением и волнением ждала чего-то.

Наконец, он подошел ко мне, остановился сзади, обнял мою шею рукой и остановился, очевидно, глядя тоже в окно. Не оборачиваясь, я не могла видеть направление его взгляда. Я была благодарна ему за то, что он обнял меня. Мне хотелось долго, долго стоять так, чувствуя на своей шее его руку.

А он уже начинал выражать нетерпение.

— Ну что же, ты так и будешь стоять здесь? — говорил он, очевидно, думая о том, что скоро могут вернуться товарищи, а я без толку стою у окна.

И он потянул меня за руку по направлению к постели.

Но я испуганно отстранилась.

— Ну, будет, ну, пойдем сюда, сядем.

Я стояла по-прежнему спиной к нему и отрицательно трясла головой при его попытках отвести меня от окна.

Он отошел от меня. Несколько времени мы молчали. Я стояла не обертываясь и с замиранием сердца ждала, что он поцелует меня сзади в шею или в плечо. Но он не поцеловал, а, подойдя, еще настойчивее и нетерпеливее тянул меня от окна.

— Ну, чего вы хотите? — сказала я, сделав шаг в том направлении, куда он тянул меня за руку. Я спросила это безотчетно, как бы словами желая отвлечь свое и его внимание от того, что я сделала шаг в том направлении, куда он хотел.

— Ничего не хочу, просто сядем здесь вместо того, чтобы стоять.

Я остановилась и молча смотрела в полумраке пустой комнаты на его блестящие глаза, на пересохшие губы.

Этой голый ободранной комнаты я сейчас не видела благодаря темноте. Я могла вообразить, что мое первое счастье посетило меня в обстановке, достойной этого счастья. Но мне нужна была человеческая нежность и человеческая ласка. Мне нужно было перестать чувствовать его чужим и почувствовать своим, родным, близким. Тогда бы и все сразу стало близким и возможным.

Я закрыла лицо руками и стояла несколько времени неподвижно.

Он, казалось, был в нерешительности, потом вдруг сказал:

— Ну, что разговаривать, только время терять...

Я почувствовала обиду от этих слов и сделала шаг от него. Но он решительно и раздраженно схватил меня за руку, сказав:

— Что в самом деле, какого черта антимонию разводите!..

И я почувствовала, что он быстро схватил меня на руки и положил на крайнюю, растрепанную постель. Мне показалось, что он мог бы положить меня и не на свою постель, а на ту, которая подвернется. Я заби-лась, стала отрывать его руки, порываться встать, но было уже поздно.

Когда мы встали, он прежде всего зажег лампу.

— Не надо огня! — крикнула я с болью и испугом.

Он удивленно посмотрел на меня и, пожав плечами, погасил. Потом, не подходя ко мне, торопливо стал поправлять постель, сказавши при этом:

— Надо поправить Ванькино логово, а то он сразу смекнет, в чем дело.

Я молча отошла и без мысли и чувства смотрела в окно.

Он все что-то возился у постели, лазил по полу на четвереньках, очевидно, что-то искал, бросив меня одну. Потом подошел ко мне. У меня против воли вырвался глубокий вздох, я в полумраке повернула

к нему голову, всеми силами стараясь отогнать что-то мешавшее мне, гнетущее. И протянула к нему руки.

— Вот твои шпильки,— сказал он, кладя их в протянутую руку.— Лазил, лазил сейчас по полу в темноте. Почему это надо непременно без огня сидеть... Ну, тебе пора, а то сейчас наша шпана придет,— сказал он.— Я тебя провожу через черный ход. Парадный теперь заперт.

Я начала надевать свою жакетку, а он стоял передо мной и ждал, когда я оденусь, чтобы идти показать мне, как пройти черным ходом.

Мы не сказали друг другу ни слова и почему-то избегали взгляды-вать друг на друга.

Когда я вышла на улицу, я несколько времени машинально, бездумно шла по ней. Потом вдруг почувствовала в своей руке что-то металлическое, вся вздрогнула от промелькнувшего испуга, ужаса и омерзения, но сейчас же вспомнила, что это шпильки, которые он мне вложил в руку. Я даже посмотрела на них. Это были действительно шпильки, и ничего больше.

Держа их в руке, я, как больная, разбитой походкой потащилась домой. На груди у меня еще держалась смятая, обвисшая тряпочкой, ветка черемухи.

А над спящим городом была такая же ночь, что и два часа назад. Над каменной громадой домов стояла луна с легкими, как дым, облачками. Так же была туманно-мглистая даль над бесчисленными крышами города.

И так же доносился аромат яблоневого цвета, черемухи и травы...

1926

ЧЕРНЫЕ ЛЕПЕШКИ

I

Когда до Москвы оставалось тридцать верст, Катерина уже не могла спокойно сидеть в вагоне. Ей казалось, что она никогда не доедет. И с каждой верстой сердце билось все сильнее и сильнее.

Вчера она узнала, что Андрей, работающий уже пять лет на заводе, сошелся и живет с другой женщиной.

Сам он ничего не писал ей и ни в чем не изменился по отношению к ней: к празднику по-прежнему присылал деньги, изредка писал письма. Говорили, что он теперь каким-то председателем и хорошо живет.

Может быть, ему ничего и не стоит посылать ей те сто рублей, которые он посылает, а остальные четыреста-пятьсот с той проживает.

И, казавшаяся ей большой, сумма в сто рублей теперь вдруг представилась оскорбительно маленькой.

Что ей сделать, когда она придет в Москву? Ворваться к нему, заставить его на месте, устроить скандал?..

Пусть люди видят, что он подлец и негодяй. Стекла еще побить... нарочно голыми руками, чтобы в крови были. А эту стерву за косы.

«Ах, пралик, пралик,— что наделал!.. Все эти красные ленточки... А давно ли они вместе по-хорошему жили, в лощину к речке по вечерам за травой ездили: солнце, бывало, сядет, за речкой в сыром лугу коротости кричат, с деревни слышны в вечернем воздухе неясные голоса. Она стоит на телеге, а он, с расстегнутым воротом рубашки, с сухими, нажженными за день солнцем волосами на макушке и мелкими капельками пота на бритой верхней губе, поддевает вилами скошенную сырую, пахучую траву и бросает ей на воз в руки. Потом он ведет лошадь в поводу, а она лежит на возу с травой, жует былинку и знает, что после ужина, усталые от жаркой работы, но бодрые и веселые, пойдут босиком через двор спать в сарай на свежем сене в телеге. Зайдет гроза от бесшумно надвинувшейся летней ночи, молния будет вспыхивать в щели ворот, и в свежем воздухе сильнее запахнет сеном и кумачом ее сарафана...»

А теперь все насмарку...»

И она чувствовала, что способна сейчас на все.

Но когда она в густой толпе вышла из вокзала, то почувствовала себя потонувшей, затерявшейся среди большого города. Ей нужно было сейчас же налететь на него ураганом, высказать ему все, а тут пришлось ходить и спрашивать, как проехать на ту улицу, где он жил. Катерине показали трамвай, но она, взявши билет, не догадалась спросить, когда ей выходить, и сидела до тех пор, пока не приехали куда-то на конец города.

Пришлось обратно ехать, а потом ходить и спрашивать, где такой-то номер дома, так как сама была неграмотная. Ей укажут вперед — она пойдет и все совестится еще раз спросить, а когда спросит, — оказывается, что она уже прошла мимо, и приходится возвращаться назад.

Она шла, все прибавляя шаг, и только думала о том, что, пока она будет тут ходить, они из дома уйдут куда-нибудь.

Когда она нашла нужный номер дома, с огромными дверями и отсвечивающими в них стеклами, оказалось, что двери всех квартир закрыты, и нужно было стучать или звонить. А куда звонить, как угадать, в какую дверь к нему идти?

— Тетка, ты что тут ткаешься? — спросил ее какой-то человек в фартуке, со стамеской в руке.

Катерина сказала.

— Нет его тут, не живет

— Как не живет? Матушки, что ж я теперь буду делать?!

Денег у нее была одна рублевка, завязанная в уголок платка. Этого не хватит на обратную дорогу.

Но в это время вышла из двери под лестницей старушка с ведром и мочалкой и, узнав, что нужно, сказала, что Андрей Никанорыч переехал на дачу. Туда нужно ехать по железной дороге.

Катерина так обрадовалась, что нашла его след, что почти бегом выбежала из подъезда. От радости она не расспросила толком, и вышло так, что когда она приехала в дачную местность, то улицу знала, а номера дома не знала.

Приближался вечер, заходила туча. А она бегала из конца в конец улицы, спрашивала и никак не могла найти. В руках у нее был узелок с черными лепешками. Почему она их взяла, не помнит. Ехала скандал мужу делать, а по привычке, должно быть, захватила гостинчика — черных, замешенных на юраге, ржаных лепешек.

Денег оставалось всего одиннадцать копеек. Место неизвестное, ночь подходит, ветер поднимается. А она с потным, растерянным лицом мечется по травянистой дачной улице, с высокими редкими соснами по сторонам и в отчаянии всплескивает руками, в одной из которых у нее болтается узелок с лепешками.

И в тот момент, когда, потерявшись, в последней степени отчаяния и страха, повернула в какой-то переулочек, за решеткой полисадника она увидела такую знакомую, такую родную макушку с сухими волосами.

Это он, Андрей, сидел на корточках около грядки в расстегнутом френче и что-то копал в земле.

Катерина только вскрикнула:

— Андрюшечка, голубчик!..

Бросилась в калитку, а когда Андрей, удивленный, приподнялся от грядки, она обхватила его руками и прижалась головой к его груди, не в силах удержать слез.

— Глянь?.. Откуда ты? С неба, что ли, свалилась? — спросил удивленно и обрадованно Андрей.

Катерина не могла ничего ответить и только сказала:

— Испужалась дюже... Думала — совсем не найду. Целый день искала, все нету. Батюшки, куда деваться!..

И она опять заплакала.

— Да чего ты, — чудная?..

Она, засовестившись, утерла глаза обратной стороной ладони и улыбнулась виноватой улыбкой. Потом сейчас же вспомнила, зачем она приехала. Но после всего того, что произошло, когда она к нему кинулась, как к своему спасению и прибежищу, да еще заплакала у него на

груди от радости, невозможно было начать скандал и перейти от радостных слез к крику.

И потом, она, увидев его знакомую макушку в огороде каким-то неожиданным, чудесным образом, ощутила в груди такую радость, какой никогда не знала, даже тогда, когда ездили с ним за травой и спали в сарае.

А он совсем не выказал того, что можно было ожидать от него, от мужа, к которому приехала брошенная жена, баба из деревни, в кумачовом сарафане, когда он тут ходит в брюках и во френче да еще живет на даче.

Она не уловила в его лице и голосе ни малейшего оттенка неприязни и раздражения: он был спокоен, так же, как прежде, скользила чуть-чуть покровительственная ласка, в особенности когда он сказал:

— Чего ты, — чудная? Ну, пойдем, самовар скажу поставить.

Он пошел вперед по дорожке к новенькому домику, окрашенному в свежую желтую краску, стоявшему около забора среди срубленных пней.

Но по дороге остановился и крикнул проходившему человеку в пиджаке:

— Иван Кузьмич, в город надо завтра послать за товаром. Я записку напишу!

И по тому, как он обратился к этому человеку, и по тому, как тот, внимательно выслушав, сказал: «хорошо», Катерина почувствовала, что он и тот же — умный, хозяйственный и добрый — Андрей, и чем-то другой, от которого зависят люди, который распоряжается и приказывает в этом чужом, незнакомом месте так же, как он это делал дома. И так просто и спокойно, как будто иначе это и не должно было быть.

Она подходила к домику с замиранием сердца. Он ничего ей не сказал об этом. Вдруг она сейчас встретится с т о ю. Наверное, наряжена в платье, как барыня. И Катерина невольно взглянула на свой праздничный сарафан и почувствовала, как горячая волна крови от стыда за свою деревенскую одежду прилила к щекам.

II

Когда они вошли в просторную комнату домика с новыми сосновыми стенами и перегородками, первое, что она увидела, — это две кровати. У нее так забилось сердце, что ноги вдруг ослабели и подогнулись было, а в горле все пересохло.

И в комнате все так было непривычно, непохоже на их избу, где они с ним жили: около окна стол, покрытый газетой, приколотой кнопками по углам, чернильница, перо, стопка книг, какие-то бумаги, нако-

лотые на длинный гвоздь на стене. Чистые городские полотенца около рукомойника в углу.

— Помолиться-то у тебя не на что?..— спросила Катерина, чтобы не молчать.

— Да, нету,— просто ответил Андрей.

Он мыл руки, стоя к жене спиной, потом, не спеша, вытирал их белым, чистым полотенцем.

А Катерина, неловко присев на первый попавшийся стул, стоявший несколько на середине комнаты, с узелком в руках, оглядывала комнату, и глаза ее жадно искали признаков присутствия здесь той, другой.

И вдруг она увидела старенькую соломенную шляпку на шкафу... Она поскорее отвела от нее глаза, чтобы Андрей не заметил, что она увидела шляпку.

— Ну вот, сейчас чай пить будем,— проговорил Андрей и стал собирать с обеденного стола газеты и бумаги.

Катерина вдруг почувствовала, что не знает, о чем с ним говорить, чтобы не было молчания. А в молчании страшнее всего чувствовалось, что между ними лежит то, о чем ни она, ни он не сказали еще ни слова.

Когда они жили дома, она каждый день говорила одно и то же: о корове, о ребятишках (их целых трое), о плохой погоде.

Она сейчас напрягала все усилия, чтобы сказать ему что-нибудь, но ничего не могла найти. Потом вдруг вспомнила про корову и обрадовалась.

— Лыска наша отелилась намедни... хорошенький теленочек вышел, весь в нее.

При словах «наша Лыска» невольно посмотрела на соломенную шляпку. И с бьющимся сердцем ждала, что скажет Андрей.

— Весь в нее?— машинально переспросил Андрей. Он, точно что-то думая, медленно продолжал убирать со стола и складывал газеты на этажерку. И вдруг уже с другим выражением взглянул на жену, как бы решившись сказать о чем-то важном.

Страшная минута наступила...

— Катюша...— сказал Андрей, глядя не на жену, а в окно,— я тебе не писал, потому что это ни к чему... Я живу не один, а... с подругой... Девушка она хорошая, честная... Она сейчас из города со службы придет, ты ее не обижай. По бабам я не таскался, а... пришлось— честно сошелся, вот и все...

Катерина молча смотрела на него, не моргая, и только горло ее изредка напряженно дергалось от проглатываемой слюны.

Вот тут бы вскопоть, платок с головы сдернуть, клок волос у себя выдрать и закричать, как безумной, от обиды и горя. А потом стекла побить.

Но вместо этого она, сама не зная почему, только сказала тихо:

— А я-то теперь как же?

— Как жила, так и будешь жить...— сказал Андрей,— деньги буду посылать, в уборку помогнуть приеду.

Катерина не ответила. Слезы вдруг стали заполнять ее глаза, потом неожиданно пролились через ресницы на руки. И она не глаза утирала, а с рук рукавом стирала слезы.

— Ну, чего ты, обойдется как-нибудь...— сказал Андрей и, взглянув в окно, прибавил: — Вон она идет... тоже Катериной зовут... Катей. Утри глаза-то, нехорошо. Я ей про тебя говорил...

Катерина послушно-торопливо утерла слезы.

III

Она ожидала увидеть женщину крупную, с белыми толстыми локтями и грудями, свежую, с белым лицом, разжиревшую на легких хлебах, на ее четырехстах-пятистах рублях, в то время как она подсохла, кормя и нянча его детей, убирая хлеб в поле. Руки стали шершавые, загорелые; локти, когда-то белые и круглые, заострились.

И опять жгучая ревнивая ненависть метнулась в ней темной волной от сердца в голову. Но сейчас же ее глаза стали круглыми от удивления: в комнату вошла тоненькая, худенькая девушка в беленькой кофточке, короткой синей юбке и желтых стоптанных туфлях. Светлые волосы были острижены по-мальчишески и только придерживались круглой роговой гребенкой.

Она вошла и от неожиданности остановилась со связкой бумаг в руках.

«Что же он нашел в ней такого? Грудь, как доска, заду и совсем нет»,— подумала Катерина.

— Катя, у нас гости,— сказал Андрей, видя ее нерешительность и вопрос.— Катеринушка приехала.

Катя, смущенно покраснев, улыбнулась и подала гостье худенькую, незагоревшую руку.

— А я и не догадалась сразу,— сказала она, опять как-то виновато и вместе с тем ласково улыбнувшись. И сейчас же, спохватившись, прибавила: — С дороги-то кушать небось хотите?..

— Я сказал хозяйке самовар поставить,— сказал Андрей.

— Ну вот и ладно. Я только сейчас со службы,— прибавила Катя, обращаясь к Катерине. Мимходом взглянула на себя в ручное зеркало, висевшее на стене около полотенец, оправила волосы и ушла за перегородку.

Катерина все так же сидела как-то неловко посередине комнаты на том стуле, на который села, как вошла. Она не знала, о чем ей говорить и как себя держать с мужем, когда здесь за перегородкой была она, е г о ж е н а. У нее только против воли сказалось:

— Дробненькая какая, худенькая...

— Ничего, человек хороший, мягкий... — ответил Андрей.

Как бы что-то вспомнив, Катерина торопливо развязала свой узелок и достала оттуда черные лепешки.

— Вот, гостинчика...

И так как в это время в комнату вошла Катя с подвязанным фартуком и черными от угля руками, Катерина невольно сказала, обращаясь к ней и как бы стыдясь своих черных лепешек:

— Вот, гостинчика вам деревенского...

Катя опять покраснела и бегло взглянула на Андрея.

— Бери, бери, — сказал тот, занявшись чем-то в углу, — ничего, человек хороший...

— Ну, зачем вы... не стоит, право. — И сейчас же прибавила: — А я люблю их до ужаста! На юраге?

— На юраге, на юраге, — поспешно ответила Катерина, обрадовавшись, что девушка знает, что такое юрага.

А потом сидели втроем и пили чай.

— Иванова-то посадили все-таки, — сказала Катя мимоходом, обратившись к Андрею. — Общее собрание было, шуму сколько...

— Да что ты?.. Давно пора, — ответил, оживившись, Андрей. Он хотел еще что-то сказать, но Катя, как бы спохватившись, прервала этот разговор и, обратившись к Катерине, проговорила:

— У вас на ладонях мозоли, а у меня на пальцах, — целыми днями на машинке стучу.

И Катерине хотелось что-нибудь рассказать, чтобы Андрей так же заинтересовался и оживился, как при словах Кати о каком-то Иванове; хотелось рассказать, как она ехала, что видела, но не знала, как начать, и сказала только, обращаясь к Кате:

— А у нас Лыска наша отелилась, корова наша, целую ночь с ней не спала. Теленочек весь в нее, как вылитый...

— Я теляточек люблю, — сказала Катя.

Помолчали.

— А у меня отчего-то бородавки на руках вскочили, — проговорила Катя.

И Катерина обрадовалась, что она заговорила о бородавках, так как знала средство от них — кислоту. И сейчас же начала рассказывать, как сводить, и старалась подольше говорить — из боязни, что скоро кончит и больше не о чем будет говорить.

После ужина, который был для Катерины мучителен тем, что она никак не могла справиться с ножом и вилкой и все роняла то одно, то другое, Катя убирала посуду, а Катерина думала об одном: где они ложат ее спать. Небось отведут куда-нибудь к соседям, а сами останутся тут вдвоем.

Эта мысль опять подняла со дна души мутную волну ревности и обиды. Но Катя принесла откуда-то складную кровать и стала стелить третью постель в комнате.

А Катерина, подойдя к столу и развернув лежавшие на нем бумаги, посмотрела в них и сказала:

— Господи, ничего-то не понять. И как это вы разбираетесь...

Перед сном Катя выслала Андрея из комнаты. Он надел фуражку и вышел.

— Ну вот, теперь ложитесь,— сказала Катя с тою же застенчивой улыбкой, обращаясь к Катерине и указав ей на свою постель, на которой только что переменяла белье.

И Катерина, чувствуя, что нужно сказать что-нибудь вежливое, проговорила:

— Да зачем вы беспокоите-то себя, я бы на полу легла. Не привыкать.

— Нет, нет, зачем же...

Катерина сняла башмаки и порадовалась, что не надела лаптей, потом скинула через голову сарафан и, стыдясь своей грубой деревенской рубахи, торопливо легла.

А Катя достала из шкафчика кислоты и, подсев к Катерине, стала нерешительно перышком мазать бородавки, а та учила ее и помогала.

Потом Катя тоже разделась. Катерина со странным, жутким любопытством невольно посмотрела на ее худенькие ноги и живот, которые имели близкое отношение к ее, Катеринину, мужу. И опять у нее потемнело в глазах.

«И на что ж он польстился? Она, Катерина, одних помоев свиньям целую лоханку снести осилит, а эта кубан с молоком не поднимет».

— Ну, вы, разобрались, что ли? — послышался из-за двери голос Андрея.

— Входи, входи,— крикнула Катя.

Андрей вошел, повесил фуражку на гвоздик и, оглянувшись по комнате, сел на складную кровать и сказал:

— Огонь тушить, что ли?

— Туши.

В комнате стало темно. Слышно было, как скрипнула под ним кровать, и он лег.

Катерина, редко моргая, смотрела в темноту, в ту сторону, где была его постель, а в голове ползли неуклюжие, неумелые мысли о нем, о Кате, о Лыске.

На утро Катерина уезжала домой. Катя и Андрей провожали ее. Катя догнала их, когда они уже вышли, и сунула Катерине какой-то узелочек, сказавши:

— Ребятишкам... гостинчика...

— Ну, зачем вы беспокоитесь?

— Нет, как же, надо! — сказала Катя и прибавила: — А то погостили бы еще.

— Дома некому, — отвечала Катерина. А сама думала: неужели она уйдет и не поговорит с Андреем? Но что ему сказать, как поговорить? Сколько она ни придумывала, что ему сказать, все на язык почему-то подвертывалась Лыска. Привязалась эта Лыска. Да еще думала о том, что у нее денег всего одиннадцать копеек. Сам он даст или придется просить?..

Андрей, шедший молча, вдруг обратился к Кате и сказал:

— Иван Кузьмич в город едет, пойдика напиши записку в кооператив.

Катя поняла, что он хочет остаться с женой, подала свою худенькую ручку Катерине и, пожелав ей счастливой дороги, пошла. А потом издали помахала платочком.

Катерина шла рядом с мужем по мягкой мшистой тропинке между редкими высокими соснами и, обходя по дороге пни, ждала, что, может быть, он сам заговорит с ней о самом главном. Прожили вместе двенадцать лет, — неужели у них не найдется, что сказать друг другу в такую минуту?

Но Андрей, дойдя до перекрестка, откуда должен был повернуть назад, ничего не сказал того, чего она ждала, и, остановившись, только проговорил:

— Ну, так ты того... если что нужно, пиши, а в уборку сам приеду помогнуть.

Он дал Катерине два протершихся на сгибе червонца и поцеловал ее.

Катерина неловко обняла его за шею левой рукой, зажав в правую червонцы, и тоже поцеловала его.

— Ну, прощайте пока... Лыску-то приезжайте посмотреть.

— Прощай, приеду.

Она пошла. Отойдя на несколько шагов, Катерина оглянулась. Андрей стоял на том же месте, и видно было, что у него осталось что-то недоговоренное и жаль ему было отпустить жену, ничего не сказав ей на прощание.

Она, замерев, остановилась и вся подалась вперед.

Андрей постоял несколько мгновений, как бы ища слова, потом, махнув рукой, крикнул:

— За Лыской-то поглядывай!..

— Погляжу,— ответила, вздохнув, Катерина.

Андрей повернулся и пошел.

И когда он скрылся и Катерина осталась одна на тропинке под соснами, ее вдруг обожгла и кинулась горячим стыдом в щеки пришедшая ей мысль:

«Обстряпали бабочку... Приняли ласково, рот замазали, она и языка протянуть не сумела. На деревне спросят: «Что же ты, мужу беспутному голову намылила? Его шлюхе в косы вцепилась? Стекла побила?» А она — не то, что стекла бить, а еще черных лепешек в гостинец принесла ей. И самой вот узелок ребятишкам сунули да двадцать целковых денег дали. Небожь теперь молодая-то смеется над ее черными лепешками: ей белых не поесть... на ее четыреста-пятьсот рублей».

Катерина даже остановилась, как бы готовясь вернуться. Но ей почему-то вспомнились тоненькие, слабенькие руки Кати, ее виноватая, ласковая улыбка, и Катерина, махнув рукой, перекрестилась и пошла своей дорогой.

1927

ГОЛУБОЕ ПЛАТЬЕ

I

Несчастье случилось на свадьбе недели за две до Покрова, когда хлеб был уже весь убран и в поле оставалась только запоздавшая картошка.

Спиридон накануне свадьбы дочери даже ходил на свой загон посмотреть, не пора ли выпихивать картошку. Постоял там, посмотрел из-под руки кругом и понурый пошел домой. Месяц тому назад дочь Устюшка пришла и сказала, что выходит замуж за сына кузнеца Парфена, комсомольца.

— А денег на свадьбу кто тебе приготовил? — спросил Спиридон, не взглянув на дочь.

— Каких денег? Приданого ему не нужно, а венчаться будем не у попа, просто запишемся, — сказала как-то небрежно, почти мимоходом Устинья, вильнула своей косой и ушла.

Жена Алена ахнула, а Спиридон бросился было за дочерью с кулаками, но сейчас же остановился и, махнув рукой, только сказал:

— Вот чертова порода-то пошла!..

Больше всего его задело почему-то, что жениху приданого не нужно. «Значит, хозяйства не справит, раз копейку не ценит, — подумал он. — И жену не будет любить».

Хотя он никогда и сам ничем не выражал своей любви к жене, и если она уезжала одна в город и долго не возвращалась, то он выходил на улицу посмотреть, не едет ли, но всегда смотрел не в сторону околицы, а как будто по сторонам, чтобы люди не увидели, что он о ней беспокоится и ждет ее.

Говорили они с ней всегда только о хозяйстве и ни о чем больше. Теперь Спиридон стал молчалив и раздражителен, и если выпивал и его чем-нибудь задирали, у него глаза загорались диким огнем, и он, не помня себя, лез драться.

Один раз даже в трезвом виде он едва не убил Семку-кровельщика, маленького, лохматого мужичонку, за то, что тот ехидно его поздравил «с хорошим женихом и партийной линией».

Когда же он бывал пьян и лез с кем-нибудь драться, Алена всегда повисала у него на руках и твердила:

— Спиридон, голубчик, будет... Спиридон, милый, не надо...

И уводила его домой, прикладывая землю к синякам, которые он себе насажал в пьяном виде.

Чем ближе подходил день свадьбы Устиньи, тем Спиридон становился угрюмее и сумрачнее. И возможно, что если бы не было этой свадьбы, то не случилось бы и несчастья, такого нелепого и ужасного.

II

В деревне начиналось веселое время свадеб. Но Спиридон ходил понурый, точно пришибленный. Ему казалось каким-то позором, что свадьба его дочери будет не настоящая, без попа.

Свадебная пирушка была у жениха. Алена хотела было надеть свое лучшее голубое шерстяное платье, которое ей Спиридон однажды привез из города, но в самую последнюю минуту почему-то передумала и надела другое праздничное платье, попроще. «Как кто подтолкнул», — рассказывала она потом, уже в больнице, Спиридону.

Гости стали собираться еще задолго до темноты. Прежде, бывало, из церкви ехали на тройках с бумажными цветами, заплетенными в гривы и хвосты лошадей, а теперь приходили и приезжали без всяких цветов.

Спиридону и в этом показалось что-то позорное и обидное.

Казалось, что над ним и над его дочерью смеются, за настоящую свадьбу не считают. И он, надевший свою праздничную поддевку и намазавший волосы коровьим маслом, чувствовал себя глупо, как будто он совсем некстати вырядился. Другой бы на его месте вовсе не пошел сюда или бы нарочно все старое надел.

Народ набирался в избу, главным образом все молодые ребята в пиджаках и френчах, и девочки, одетые тоже все по-городски — в бе-

лых платьях и туфлях с белыми чулками, как барышни. Они шумели, смеялись, как будто всем здесь командовали и управляли они, а старики как-то неловко жались в сторонке.

В переднем углу стоял накрытый стол, устроенный из трех сдвинутых столов. На скатерти были положены вдоль по тарелкам вынутые из сундуков расшитые полотенца для утирания масляных ртов и рук. Стояли бутылки водки, вишневка и на блюдах — заливные куры.

Спиридона никто не встретил, не оказал ему, как отцу, почета, точно он не имел здесь никакого значения. И он стоял в толпе других гостей, дожидаясь, когда позовут садиться за стол. И чем он больше так стоял, тем больше в нем разгоралась обида: двадцать лет работал, дочь вырастил, а теперь на ее свадьбе стоит, как неприкаянный, точно его из милости сюда пустили.

А тут попятился, не разглядел, что сзади, и попал сапогом в кошащее блюдо с молоком, стоявшее у стенки. Блюдо хрустнуло, разломилось, и из-под ног Спиридона потек ручей молока на середину пола. Некоторые из гостей фыркнули, а он покраснел до самого затылка.

Старики хозяева, Парфен и его жена Анисья, тоже как-то нескладно толкались, видимо, не зная, что делать со скучающими гостями. А молодежь забралась вопреки всем обычаям в спальню, оттуда слышался говор, смех. Устигья в белом платье, с волосами, собранными к затылку в прическу с воткнутой в нее гребенкой, сидела с женихом на кровати, тоже смеялась и оправляла ему то галстук, то волосы, как будто он был для нее уже с в о й.

И от этого не было, как показалось Спиридону, никакой серьезности, никакого благообразия. И даже отдавало каким-то бесстыдством.

У Спиридона настроение стало еще хуже, когда он увидел, что здесь присутствует рябой Семка, который один раз уже подковырнул его насчет этой свадьбы.

Кум Спиридона, Сергей Горбылев, пожилой мужик с серой курчавой бородой и волосками на носу, как будто понял, что чувствовал Спиридон. Он отодвинул ногой черепки и, нагнувшись к Спиридону, подмигнул и сказал тихонько:

— То же в г о с т и пришел?

— Вроде этого...— ответил угрюмо Спиридон.

Наконец оживились, зашумели. Молодые ребята, напирая друг на друга, толпой вытеснились из спальни, причем всех толкали.

Комсомолец Гараська Щеголев, друг жениха, вышел на середину избы и поднял вверх руку, как бы требуя тишины. Все затихли и смотрели на него и друг на друга с неловким чувством ожидания, что он сделает или скажет что-то такое, от чего всем будет стыдно и неловко за него и за себя. Гараська утер губы платком и, заложив палец за борт френча, сказал краткое приветствие молодым, заключавшееся в том, что

он поздравлял новую пару, отказавшуюся от предрассудков и строящую новый быт.

Жених в коричневом френче и брюках, стоя рядом с невестой, то смотрел на оратора, то, улыбаясь, перешептывался с невестой, чтобы скрыть свою неловкость. А она тоже изредка шептала ему что-то, закрыв рот рукой.

И опять эта смелость и развязность дочери показалась Спиридону почти бесстыдством. Его старуха — не то что шептать и смеяться при всех с ним, когда он был женихом, она стояла, словно окаменела совсем, до того боялась.

Спиридон смотрел на оратора, на его сухой, свешивающийся наперед вихор, и ему лезли мысли о том, что на него, отца, наплевали, да еще на смех подняли, когда в кошачье блюдце попал, всем командует какой-то мальчишка, у которого на губах молоко не обсохло.

В особенности ему показалось, что над ним потешается Семка, который, сидя на подоконнике и свертывая папироску, поглядывал на жениха с невестой и все ухмылялся чего-то. Лицо у него было рябое от оспы, и на носу было особенно много рябин, так что кончик его был точно весь изъеден. И оттого лицо его казалось Спиридону особенно гнусно-ехидным.

За стол он сел в поддевке, и ее широкие рукава, обшитые полоской кожи, мешали ему управлять ножом и вилкой. Стал резать курицу, упер вилку стоймя в тарелку, а она, неожиданно соскользнув, так взвизгнула, что все гости испуганно оглянулись. А соседка с левой стороны всего обдал куриным желе, и тот испуганно выбирал его из курчавой бороды, точно ему в бороду не куриное желе, а искры из кузнечного горна попали.

Спиридон опять весь покраснел и с досады чуть не пустил тарелкой об пол и не ушел. Но удержался и только отставил тарелку и стал только пить.

— Неподходящее, видно, дело? — сказал ему через стол Семка.

Спиридон посмотрел на него и ничего не ответил.

Языки развязывались все больше и больше. Ножи отложили в сторону и стали работать руками, разрывая сухожилия на куриных ногах и обгладывая их зубами. Молодежь, обступив молодых, заставляла невесту пить водку и целоваться с женихом.

И Спиридону казалось, что они нахальничают над его дочерью у него на глазах, а все смотрят на него и, наверное, смеются над ним, что он сделать ничего не может.

Семка рябой, то и дело наклоняясь вперед над столом пьяной головой, смотрел неслушающимися глазами на молодых, потом переводил их на Спиридона и вдруг закричал пьяным голосом:

— Вали, ребята, целуй ее все, — не венчанная!

Спиридон побелел.

Соседние с Семкой мужики начали унимать его, а он еще больше кричал и хохотал пьяным смехом в лицо Спиридону. Все сразу затихли. Назревал скандал. Но все-таки все были далеки от мысли о том, что сейчас произойдет.

— Вали, ребята, не церемонься! — закричал опять было Семка.

Но в это время вдруг что-то случилось... Сидевшие рядом со Спиридоном два мужика полетели на пол, а Спиридон очутился около Семки и стал душить его за горло. Семка одной рукой отдирает руки Спиридона, а другой ищет на столе нож. Заметив это движение, Спиридон не спеша отвязал одной рукой с пояса под поддевкой свой самодельный из косы нож. Отвязав, он навалился на Семку среди отшатнувшихся от них соседей по столу и только было взмахнул рукой над моргавшим под ножом мужичонкой, как у него на руке повисла Алена и закричала:

— Спиридон, голубчик, будет... Спиридон, голубчик, не надо...

Он с озверелым видом изо всей силы отмахнулся от жены рукой, в которой у него был нож, и Алена, слабо, испуганно и как бы удивленно вскрикнув, медленно осела на пол.

Платье на ней было разрезано от груди до самых ног, и на полу оказалась лужа темной крови, стекавшей от нее узеньким ручейком в углубление, и на ней плавала и кружилась пыль от земляного пола.

III

Рана оказалась смертельной. Алену отвезли в больницу, и она медленно умирала.

Все в деревне жалели Спиридона и говорили о том, какое несчастье опрокинулось на него: осталось хозяйство без бабы.

Соседи часто заходили к нему, когда он сидел один, опустив голову, и говорили ему о том, что одному ему трудно в хозяйстве будет, что нужно жениться, ведь он еще не старик... Можно посватать Катерину Соболеву, она хорошая и работающая баба, хотя, впрочем, у нее трое ребят. Тогда можно взять Степаниду, у нее один мальчишка, вырастет, помощником будет.

Но Спиридон ничего не хотел слушать.

На третий день его допустили к раненой.

Когда больничная сестра в белом халате провела Спиридона по высокому коридору и остановилась перед крайней дверью, Спиридон, шедший за ней неловко на цыпочках в своих больших сапогах и с шапкой в руках, тоже остановился и посмотрел на свою шапку, точно не зная, куда ее деть, и на свои сапоги, не наследил ли он ими.

Сестра вошла в палату. Спиридон в раскрывшуюся дверь увидел в дальнем углу пустой палаты койку и на ней чей-то незнакомый и чужой желтый лоб.

Сестра, заглянув на эту койку, повернулась и поманила Спиридона. Тот, еще больше приподнявшись на цыпочки, отчего его сапоги неловко выхлялись на скользком натертом полу, подошел.

Перед ним лежала Алена. Желтый, как у покойника, лоб оказался ее лбом. И странно было, что он так быстро стал таким. Вокруг глубоко запавших глаз залегли серые, землистые тени. Поверх серого больничного одеяла лежали выпростанные бледно-желтые, точно только что вымытые руки с выросшими желтыми ногтями.

Сестра вышла. Спиридон сел на кончик табуретки у постели жены.

Ему было стыдно и неловко, что он сам убил ее, а теперь пришел навещать.

— Ну как?.. — спросил Спиридон каким-то чужим, как ему показалось, голосом. Хотел откашляться, но побоялся.

Слабый взгляд умирающей остановился на нем, и по ее лицу вслед за мелькнувшей бледной, как бы одобряющей улыбкой пробежала тень заботы.

— Помру... — слабо, едва слышно выговорили ее бледные, бескровные губы. Она несколько времени лежала неподвижно, как бы отдыхая от сделанного усилия. Потом все с тем же выражением заботы, сказала:

— Вот беда-то свалилась... как ты теперь один будешь... не справишься с хозяйством-то.

Она вошла в свою обычную роль заботы о нем и говорила так, как будто не ее положение умирающей нуждалось в заботе и сочувствии, а положение Спиридона, который останется жить один, когда у него картошка не выпажана и за ним самим некому будет присмотреть и некому помочь.

И Спиридон как-то по привычке принимал это и даже невольно делал вид, как будто его положение действительно тяжелое. Он даже хотел было сказать жене, что соседи уж уговаривают его жениться, но что-то его удержало от этого. Он только махнул рукой, как бы не желая говорить о своем положении, и сказал:

— Да это что там, справлюсь как-нибудь. Вот тебя бы поправить...

Но больная на это только безнадежно покачала головой:

— Обо мне разговор уж кончен...

Потом посмотрела издали на свои руки, лежавшие на одеяле, приподняв их ногтями к себе, и, подумав, спросила:

— Что ж, живут? — очевидно, подразумевая дочь.

— Живут покамест, — ответил Спиридон.

Алена опять покачала головой.

— Бесхозяйственный... от приданого отказался, значит, копейку не будет беречь... несчастная она с ним будет... любить ее не будет...

— Какая там любовь... — сказал таким же тоном Спиридон.

— Больше двух дней не выживу... отработалась... — сказала Алена, потом, застав от боли, лежала несколько времени неподвижно с закрытыми глазами.

У Спиридона зачесались глаза и защипало в носу от слез. Он подумал о том, что она сама умирает, а думает только о нем, а он помнит, что не раз все-таки подумывал о предложении соседей и так как привык больше всего беречь копейку, то ему было жалко денег, если придется нанимать человека, так как один после ее смерти он все равно не справится.

Алена, открыв глаза, повернула к Спиридону голову на плоской больничной подушке, посмотрела на него и как-то робко, нерешительно проговорила:

— Положи ты меня в голубом платье... это твоя память... так ни разу и не надела... только смотрела на него... видно, уж там вспоминать буду.

Спиридон подумал, потом сказал:

— Жалко... что ж оно в земле-то зря сопреет? Лучше Устюшка поносит.

— А, ну хорошо... в чем-нибудь, там не взыщут, что не приоделась... — проговорила Алена, и на ее губах промелькнула слабая тень улыбки.

— И ровно надоумил кто...

Она остановилась, часто и слабо дыша. Спиридон подождал, и так как она молчала, он спросил:

— В чем надоумил?

— Платья-то этого не надела... и оно бы пропало зря... располосовал бы все...

У Спиридона опять зачесались глаза, а в горле точно застрял какой-то комок.

— Да это что там... человек дороже платья, — сказал Спиридон, махнув рукой.

— Что ж дороже... человека-то уж нету почесть... А я было уж надела его, потом опять сняла... прямо бог спас.

Спиридон утер украдкой глаза, проведя по ним и по носу шапкой, и на носу остался зацепившийся в виде пушинки клочок ваты от подкладки, которого он не заметил.

Алена хотела было ему сказать, но, видимо, ей стоило это большого напряжения и она не сказала, а только смотрела на эту ватку, которая развлекала ее внимание.

Спиридон смотрел на жену и видел, что ей уж не встать, и она сама знает это, а все-таки продолжает заботиться о нем. И опять горе и жалость к человеку, с которым прожил целую жизнь, ждали ему спазмой горло.

Алена заметила это, ей стало жаль мужа, и, чтобы успокоить его и ободрить, она сказала:

— Не горюй... может, еще выживу... случаи бывают...

— Дай бог...— сказал Спиридон, а сам испуганно подумал, что ведь это беда тогда будет, если она в самом деле выживет, потому что все равно ни на какую работу не будет годна, ее только кормить да ходить за ней.

— К следователю уж вызывали, теперь затаскают, гляди, еще лошадь напоить некому будет.

Он сказал это затем, чтобы, во-первых, отогнать от себя эти лезшие в голову постыдные мысли, а кроме того, ему как-то стыдно было сидеть перед умирающей от его руки женщиной здоровым, не обремененным никакой заботой, никакими неприятностями, и ему хотелось как бы выставить себя в более несчастном положении, быть может, немногим лучше, чем положение Алены. Он даже старался говорить каким-то слабым, больным голосом.

— За что ж таскать-то...— сказала Алена, отвечая на его слова о следователе,— кабы ты нарочно... что ж с пьяного человека взыскивать, мало что бывает...

Она не договорила, закрыла глаза и закусила бледные губы.

— Больно тебе?— спросил Спиридон, чуть наклонившись с табурета.

Алена слабо кивнула головой, потом опять застонала и заметалась.

А Спиридон смотрел на нее и думал: «Неужели она все-таки выживет?»

Вошла сестра, оправила одеяло, взяла руку больной и, отвернувшись, стала пробовать пульс, потом мигнула Спиридону, чтобы он уходил. Но в это время Алена открыла глаза и, найдя ими мужа, сказала слабым голосом:

— Ну, иди... может, не увидимся... найми копать картошку-то, не справишься один. А платье Устюшке отдай... пусть носит... меня все равно в каком...

Потом, отдышавшись, прибавила:

— Жениться бы тебе... что чужому человеку платить. Я уж думала о Катерине... хорошей души баба.

— Еще что выдумала!— сказал Спиридон.— Может, бог даст, оправьешься.

Спиридон стоял с шапкой в руках около койки и, не зная, как проститься, молча поклонился жене поясным поклоном, как кланяются покойнику, потом пошел опять неловко, на цыпочках, из палаты все еще с пушком ваты на носу.

Придя домой, в свою пустую избу, где еще так недавно жена хлопотала у печи, Спиридон сел на лавку и долго сидел, опустив голову. Потом отодвинул ящик стола, ища чего-нибудь поесть, но ничего не на-

шел, кроме хлеба и холодных, осклизлых картошек на загнетке в чугунке.

И от этой пустоты и тишины чего-то остановившегося, от потери навеки своего неизменного заботливого друга, от этих холодных картошек опять в горле начал набираться комок слез.

Ведь она как мать была для него всю жизнь, даже теперь, умирая от его руки, думает и заботится только о нем, вплоть даже до его женитьбы. А он не ценил и даже не замечал этого, и вот только теперь, когда ее нет с ним, когда холодная картошка в чугунке говорит о ее, быть может, вечном отсутствии, теперь он почувствовал.

И если не удастся спасти ее, то ради ее такой любви остаться ее памяти верным до могилы. И лучше есть эту холодную, осклизлую картошку, чем допустить, чтобы ее место занял какой-то другой человек, хотя бы та же Катерина.

IV

А когда он на другой день пошел в больницу, он подумал, как же теперь будет хозяйство: если она умрет, ему одному не справиться, нанимать — жалко денег.

Конечно, самое лучшее — жениться на Катерине. Но у Катерины хоть и душа хорошая, а у нее трое ребят. Тогда лучше Степанида, у нее один малый.

А если Алена останется жива, то работать не сможет, и все равно придется нанимать, потому что, пока она жива, жениться на другой нельзя, да еще за ней ходить надо человека нанять.

И когда он подходил к больнице, ему подумалось, что вдруг сестра выйдет и скажет:

— Слава богу, твоя старуха останется жива, только тебе придется взять ее домой и нанять какую-нибудь соседку, чтобы ходить за ней, бог послал крест, надо терпеть, она уж не работница.

Спиридон стал соображать, во сколько это обойдется, и никак не мог сосчитать.

Подавленный этими мыслями, он вошел в больничный коридор и робко, точно ожидая своего приговора, встал с шапкой у двери.

Сестра встала из-за белого, выкрашенного масляной краской столика, за которым она что-то писала, и, увидев Спиридона, подошла к нему.

— Ну... — сказала она.

Спиридон заморгал, у него замерло сердце, и на лбу выступил холодный пот. Он даже утер его шапкой.

— Что же делать, надо терпеть, — сказала сестра в то время, как у Спиридона при первых ее словах мелькнула мысль о хозяйстве, —

в ночь скончалась,— договорила сестра.— Она там, ее вынесли в мертвецкую,— прибавила она.

У Спиридона как-то против воли вырвался вздох облегчения. Но при мысли о том, что хозяйство его осиротело, что он уже н и к о г д а не увидит свою старуху, и при слове в ы н е с л и он почувствовал в горле опять знакомый ком и неожиданно для себя стал как-то нелепо, по-бабьи всклипывать, так что самому стало стыдно.

1928

ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ

I

В деревне Бутово, что стоит на высоком загибающемся берегу реки, мужики издавна сдают свои избы под дачи. И те из них, кто строился в последнее время, приспособляются ко вкусам и потребностям дачников — городских жителей, благодаря чему эти постройки уже похожи на настоящие дачки, а не на крестьянские избы.

Только крайний от реки домик, принадлежащий ветхой старушке Поликарповне, во всех отношениях отстал от моды. Он покосился, покривился, крыльцо его, подпиравшееся столбом из кирпичей, одной стороной висело над полуобрывом, спускающимся к реке. Под этим крыльцом всегда собирались от жары чужие собаки, которые, разрыв прохладную в тени землю, лежали вразтяжку. Когда кто-нибудь, проходя мимо, свистал им, собаки только испуганно поднимали головы с мутно-красными от сна глазами, потом опять растягивались.

Это крыльцо уж давно грозило обрушиться и похоронить под своими развалинами случайных постояльцев. Да и весь домик с отставшими от старых рам стеклами в его трех окошечках и расшатавшиеся ступеньки крыльца говорили о полной немощи своей хозяйки.

Ветхость домика и ветхость самой хозяйки отпугивали дачников, и в то время как все дачи в деревне разбирались, у Поликарповны большую часть оставалась свободной ее хибарка.

Каждый раз наниматели, обойдя сначала домик снаружи, говорили владелице, что они пройдут посмотреть еще другие, и на обратном пути, вероятно, зайдут и снимут ее хибару. Но не было еще случая, чтобы они заходили на обратном пути.

Было только одно достоинство этого домика: это то, что он стоял крайним от реки на высоком известковом берегу, и с его крыльца далеко был виден каменистый загиб берега с полосой от разлива, проточенной в известковых камнях.

И если бы на месте этой развалюшки стояла исправная дачка, то не было бы отбоя от нанимателей.

Каждую весну у Поликарповны начиналась тревога: каждый проходивший городского вида заставлял с силой биться ее сердце. Она старалась нарочно не смотреть на него, чтобы зря не волноваться, но ее уши против воли напряженно ждали, не обратится ли он к ней.

II

И вот, наконец, счастье пришло; из города зашел какой-то человек в серой кепке, с полуседыми волосами и в рыжеватых сапогах с короткими обтершимися голенищами. В руках у него были удочки, треножник и маленький чемоданчик.

— Ну-ка, бабушка, комнатку мне откомандируй, — проговорил пришедший.

Он, не торгуясь, снял комнату за тридцать рублей в лето и деньги тут же отдал все вперед, вынул их из старенького кошелька с медным ободком.

Звали его Трифоном Петровичем. На вопрос хозяйки, чем он занимается, постоялец ответил, что он художник, приехал сюда писать картины.

После чая перед вечером он пошел на берег и долго смотрел на реку.

Был час, когда вода в реке почти неподвижна и зеленый луговой берег отражается в воде с зеркальной ясностью, а молодая трава в засвежившем майском воздухе пахнет сильнее, и над всей окрестностью разлита предвечерняя тишина.

По лицу художника и по берегу шли радуги от вечернего солнца, отражавшегося в воде. Постояв там, он пошел домой, поставил треножник, а на него рамку с натянутым холстом.

— Как чудесно! — говорил он, вдыхая всеми легкими тонкий аромат яблоньего цвета, смешанный с вечерней прохладой.

Прежде в этот час звонили к вечерне, но теперь церковь была превращена в народный дом, и только в ограде оставались по-прежнему яблони, которые буйно цвели почти каждую весну, и с крыльца был виден уголок этой ограды и свешивающиеся яблоневые ветки, осыпанные крупным белым цветом.

Художник отступил шага на два от треножника и стал примериваться, чтобы вместе с лугами и рекой захватить уголок ограды с яблонями.

И с этого момента каждый вечер, как только тень от противоположного берега доходила до середины реки и вечерние радуги, отража-

ясь от воды, шли по столбикам крыльца, Трифон Петрович брался за свою картину.

Он был уютно-веселый и простой человек; Поликарповна с первого же дня привыкла к нему, как к своему, и даже скучала, когда он с удочками уходил на реку и его сгорбленная фигура, видневшаяся на светлом фоне реки с поднятой вверх удочкой, оставалась в полной неподвижности до самой темноты.

Один раз, походив около домика, Трифон Петрович сказал:

— Мне все равно сейчас делать нечего, дай-ка я поправлю тебе крыльцо.

— Спасибо, родимый, если милость твоя будет,— ответила старушка.

И Трифон Петрович все время, свободное от писания картины, стал проводить за поправкой крыльца, а когда кончил его, осмотрел и тоже перечинил все рамы, поправил даже балясник и сделал калиточку.

— Чудно мне что-то,— сказала один раз Поликарповна,— пришел ты, снял комнату, даже не поторговался, а теперь крыльцо мне чинишь, будто ты и не чужой человек мне.

— А что ж, неужто все только на деньги считать? Я вот тебе поправлю, а ты потом вспомнишь обо мне, вот мы и квиты,— сказал он, засмеявшись.

— Теперь, милый, такой народ пошел, что задаром никто рукой не пошевельнет. Вон церковь-то закрыли, о боге да и о душе теперь не думают, только для брюха и живут. Да смотрят, как бы что друг у дружки из рук вырвать.

— Ну, нам с тобой делить нечего: оба нищие и оба старые, нам только друг за дружку держаться,— говорил Трифон Петрович, обтирая кисть о халат и снова и снова переделывая нарисованные цветы.

— Что ты все поправляешь-то, батюшка?

— Никак не могу поймать... чтобы цвет был белый и чистый.

— Да ведь он и так у тебя чистый.

— Нет, все не то, надо, чтобы как живое было, вот чего добиваюсь.

Старушка помолчала, потом сказала:

— Ну, прямо я с тобой, как с родной душой.

— Ну, вот и хорошо.

Поликарповна всем в деревне рассказывала, какого хорошего человека ей бог послал. И в самом деле, постоялец, помимо того, что даром поправлял ей ее домишко, к тому же был такой ласковый, нетребовательный, что на него не приходилось тратить ни сил, ни времени. За водой в колодец для самовара он не позволял старушке ходить и носил воду сам. Когда ездил в город, то всегда привозил ей гостинцев — конфеток, вареньица. А по вечерам долго сидел с ней на крыльце за чаем, и они, поглядывая на далекие луга, мирно разговаривали.

— Прямо с тобой душа отошла, — говорила Поликарповна, — а то уж в людей вера пропадать стала.

— Вера в человека — это самая большая вещь, — отзывался Трифон Петрович. — Когда эта вера пропадает, тогда жить нельзя.

III

Один раз Трифон Петрович уехал в город, а Поликарповна, убравшись, сидела на крыльчке. Подошел к ней проходивший мимо Нефедка, сапожник, ничтожный, дрянной человечешко, известный пьяница и клязник. Он несколько раз видел Трифона Петровича за работой и теперь, сев на ступеньку у крыльца, завел разговор на ту тему, зачем это ей постоялец задаром крыльцо чинит.

Поликарповна попробовала было сказать, что человек хороший, вот и чинит. Но Нефедка на это только как-то нехорошо усмехнулся, так что у Поликарповны даже тревожно перевернулось сердце.

— Уж какую-нибудь он под тебя дулю подведет, либо из платы за квартиру вычтет, либо еще что-нибудь. Какой же человек будет без всякой выгоды для другого стараться.

— Деньги он мне все вперед уже отдал.

— Отдал? Ну, значит, еще что-нибудь. Нешто обо всем догадаешься. Вон он работает по вечерам, а теперь насчет этого строго, охрана труда и все такое...

— Иди-ка ты отсюда подобру-поздорову, — сказала с гневом Поликарповна, — нечего на хорошего человека каркать.

Нефедка ушел, Поликарповна плюнула даже ему вслед и, утерев рот, перекрестилась как от искушения. Она думала о том, какую же мысль может таить Трифон Петрович против нее? А потом даже рассердилась на себя, что из-за слов ничтожного человека хоть на минуту допустила какое-то сомнение в хорошем человеке.

Трифон Петрович вернулся перед вечером, старушка так и вскинулась навстречу к нему от радости. Ей хотелось быть с ним еще ласковее, потому что она как бы чувствовала за собой какую-то вину в том, что хоть на минуту задумалась о словах Нефедки. Трифон Петрович взялся за свою картину, она села на ступеньку и совсем успокоилась.

— Я там в городе всем порассказал, как у вас тут хорошо: теперь хозяйки не отобьются от постояльцев, у меня рука легкая.

Но когда после захода солнца он попросил топорик, у Поликарповны тревожно скнуло сердце, и она стала уговаривать его, чтобы он отдохнул, что уже поздно. Причем лицо у нее, когда она говорила это, было растерянное и испуганное.

А когда легла спать, то в голову, прогоняя сон, лезли одни и те же мысли: чего можно ожидать? Ведь все деньги получены сполна. Конеч-

но, ничего. И когда она убеждалась, что ничего плохого быть не может, что все это болтовня скверного человека, ей вдруг становилось легко, точно с плеч сваливалась какая-то мутная, грязная тяжесть. А то вдруг через минуту сердце, с силой стукнув два раза, останавливалось, и на лбу выступал пот от какой-нибудь новой мысли: например, ей приходило в голову, что Трифон Петрович, может быть, работает над ее хибаркой с тем, чтобы потом сказать:

«Я имею часть в этом доме, так как целое лето ремонтировал его, исправлял крыльцо, чинил рамы, а ввиду того, что я работал по вечерам, я еще могу донести на тебя в охрану труда, поэтому или плати мне сверхурочно или вовсе выселяйся из моего дома».

А тут еще ко всему этому прибавилось одно обстоятельство: у Трифона Петровича рука в самом деле оказалась легкая; начиная с воскресенья, в деревню стали приезжать все новые и новые дачники. Хозяек охватила лихорадка наживы. Цены поднялись потом втрое, а так как народ все ехал, то стали уж хапать без всякой совести. Те, кто пустил к себе дачников раньше по дешевой цене, теперь грызли с досады руки или, совсем махнув рукой на совесть, набавляли на своих постояльцев, а если они не хотели приплачивать, выживали их всякими способами.

Один раз к Поликарповне зашла кума с дальнего конца деревни.

— Бегала теленка искать,— сказала она, присаживаясь на нижнюю ступеньку крыльца и поправляя после ходьбы платок.— Ну как, довольна своим постояльцем?

Поликарповна с удовольствием и радостью рассказала о том, какого хорошего, редкого человека ей господь послал, что он с ней, как с родной матерью, иной сын не будет того для своей матери делать, что делает он, потому что он не по выгоде, а по душе все делает.

— Да, это редкость,— согласилась кума.— А у меня вон сняли комнату двое, муж с женой, я с ними и так и этак старалась, угождала им во всем, а они в город поехали, четыре дня там пробыли, а потом, гляжу, вычитают за эти дни, а ведь комната-то за вами, говорю, была. А они и внимания не обращают. Еще пригрозили, что донесут на меня, что я кулак, народ притесняю. Так, веришь ли, у меня все сердце перевертывается, когда мои глаза увидят их. Так бы, кажется, кишки им все выпустила да на руку и намотала. Вот до чего!

— Нет, у меня прямо свой, родной человек.

— Да уж про твоего разговор по всей деревне идет. Ты сколько с него положила-то?

— Тридцать рублей в лето.

Кума хотела было почесать голову и только подсунула руку под платок, да так и осталась с поднятой рукой, удивленно раскрыв глаза:

— Сколько?

Поликарповна повторила.

— Да ты, бабка, спятила совсем!.. У меня есть один, он у тебя с руками за сто оторвет, комнату никак найти не может. Теперь по полтора-ста берут, по двести!

— Как по двести?..— спросила едва слышным голосом Поликарповна. У нее почему-то пропал вдруг голос, вся кровь бросилась ей в лицо, стала медленно расплываться по шее.

— Да так. Вон Демины, у них хатенка немного лучше твоей, а они за сто двадцать сдали.

— Как за сто двадцать?..— опять так же тихо, как загипнотизированная, воскликнула старушка.— Да ведь раньше все дешево брали...

— Мало что раньше! Тогда народу совсем не было, а теперь от него отбоя нет. Старики не запомнят, чтобы когда-нибудь столько дачников было. Что же тебе из-за чужого человека цену упускать, что он тебе, сын, что ли? Такого случая умрешь — не дождешься. Вон Кузнецовы тоже хороших людей с весны пустили, знакомые, сколько лет у них жили, а к тому делу подошло, так они в два счета выкурили, а на другой день вместо прежних пятидесяти за сто тридцать сдали.

IV

Кума ушла, а Поликарповна осталась в невыразимом мраке. Вон к чему дело повернулось... Конечно, она не могла ни одной минуты заподозрить Трифона Петровича в том, что он умысленно стал чинить крыльцо и приводить в порядок ее домишко с тем, чтобы, когда она зайкнется о прибавке, представить ей счет за ремонт. Просто невозможно было заподозрить в этом человека с такой хорошей душой.

Но дело в том, что сейчас эта хорошая душа влетела ей в копеечку. Семьдесят рублей убытку! Ведь если бы на месте Трифона Петровича был какой-нибудь обыкновенный, а того лучше — дрянной человечешко, который бы выгрязал каждую копейку, тогда бы она ему, не церемонясь, прямо сказала начистоту:

«Вот что, мой милый, прошиблась я маленько, когда с тебя плату назначала, я думала, что народу не будет и придется мне одной все лето куковать, и назначила с тебя поменьше, чтобы ты к другим не ушел. А когда дачник полным ходом попер, теперь уже мне бояться нечего: или второе давай или выметайся, а то новый постоялец дожидается».

Вот что она могла бы сказать. А как это скажешь человеку, который к тебе подошел, как сын родной, без всякой корысти, и сама же только что хвалила его по всей деревне?

И словно нечистый ее подвел в разговоры с ним пускаться, о душе распространяться. Распространилась на семьдесят целковых! Держалась бы подальше. И как в голову не пришло, что, когда деньги получаешь, всегда дальше держись. Комнату предоставил, самовар поставил, и боль-

ше нас ничего не касается. А теперь, ежели она его выкурит, то соседи такой звон подымут, что просто беда. Скажут, вишь, старая карга, из нее скоро мох расти будет, а она душу свою пачкает, хорошего человека выкурила.

И как только она теперь видела постояльца, когда он с удочками и корзиночкой возвращался с рыбной ловли, так у нее перевертывалось все сердце. Хорошо ему рыбку-то ловить, на семьдесят целковых можно себе удовольствие позволить. И идет, как будто не понимает. У, сволочь поганая! Господи, прости ж ты мое согрешение!..

Весь вид постояльца, его ласковость, мягкость вызывали у Поликарповны только раздражение, почти ненависть. Чем человек этот был лучше по душе, тем для нее было только хуже, так как ей на этом приходилось терять такие деньги, каких она уже давно не видела в руках.

И что бы он теперь ни делал, как бы хорош с ней ни был, ее мысль не могла забыть этих семидесяти рублей и того, что тот человек, который готов заплатить сто рублей, может уехать. И когда Трифон Петрович за чаем угощал Поликарповну привезенными из городами конфетами, она конфеты брала, а сама против воли думала:

«За семьдесят целковых, конечно, можно конфетками угощать, за эти деньги можно бы и получше привезти. А то это чего выгоднее: по-душевному обошелся с человеком, конфеток ему на гривенник купил, а у него от этого язык не поворачивается свою сотню отстоять».

И хотя, если говорить по правде, тот же ремонт, который произвел Трифон Петрович, обошелся бы ей не дешевле семидесяти рублей, но она ведь не просила его об этом, ее хибарка и без ремонта могла бы быть сдана в лучшем виде. И он с ней не договаривался, а добровольно делал, а за добровольное денег нельзя взыскать. А то это немало охотников найдется. Какой-нибудь проходимец присоседится, что-нибудь починит, да нарочно еще будет по вечерам работать, когда охраной запрещено, а потом плати ему вдвое, как за сверхурочные!.. А что он за водой ходит, так это девочку какую-нибудь нанял за два рубля в лето, так она тебе столько натаскает, хоть залейся совсем. Это подешевле обойдется.

А почему ей только сто рублей с того постояльца брать? Раз Кузнецовы сто тридцать, то и она может столько же назначить, ведь это до ремонта к ее домишку страшно было подойти, а теперь на него глядеть любо. Даже калиточка есть. Вот только бы избавиться. Ее раздражало каждое его слово, каждое движение. Даже то, что у него были белые руки, чего она прежде как-то не замечала.

А он, как нарочно, ничего этого не видел. А тут кончил, наконец, свою картину и, отойдя от нее шага на два, даже засмеялся от удовольствия: яблоневый цвет большими — белыми с розовыми — гроздьями как живой был на первом плане картины, и от него веяло такой чисто-

той, а от вечерней глади реки таким покоем, что, казалось, чувствовался его аромат и запах вечерних, засыревших полей.

— Схватил! — сказал Трифон Петрович. И, обратившись к хозяйке, прибавил: — Вот осенью другую картину тут напишу.

И у Поликарповны вся шея покрылась красными пятнами.

V

На следующее утро Поликарповна остановила проходившего за водой Нефедку и, позвав его к себе, рассказала ему все, спрашивая совета, как поступить.

— Я говорил, что-нибудь тут да не так. Скажи, пожалуйста, чего ради чужой человек ни с того ни с сего на другого будет работать, спину гнуть! Вот оно так и пришлось: он топориком-то потюкал, по душе с тобой обошелся, а у тебя через это рука против него не подымается. Тебе бы сейчас случаем пользоваться, что дачник густо пошел, крыть почем зря да в сундук прятать, а у тебя против него руки связаны. Ну да вот что...

Он пьяным жестом сложил руки на груди, взяв себя ладонями под мышки, и задумался, опустив голову. Потом, подняв голову, сказал:

— Ставь, видно, мне четвертную на пропой души, и устрою я тебе это дело в лучшем виде. Человек он, видать, хороший, в суд не пойдет. Ты уйди на денек, скажем, к дочери за реку, а я ему от твоего имени объявлю, чтобы он убирался подобра-поздорову. Потому что, ежели ты его не выставишь, а только плату на него накинешь, то тебя потом хуже совесть замучает смотреть на него, потому что ты старушка религиозная и душа у тебя совестливая.

— Верно, батюшка, замучает, — сказала Поликарповна, забрав подбородок в руку и скорбно покачав опущенной головой в черненьком платочке.

Она как-то вся потерялась, даже осунулась и побледнела за эти дни, а на руках и на щеках виднее выступили лиловые пятна, что бывает у глубоких стариков перед недалеким часом смертным.

— Ну вот, а я полегонечку тут все сделаю. Так и так, мол, старушка богобоязненная, совестливая, самой ей разговаривать с тобой стыдно, потому что ты человек-то очень хороший, как с матерью родной с ней обошелся, и потому она это дело мне препоручила.

— Верно, милый, верно. А как же деньги-то ему, что за дачу он заплатил, отдавать придется?

— Ты с этим погоди, не юли, сами забегать вперед не будем, а там видно будет. Если еще бутылочку прибавишь, то и с этим как-нибудь справимся.

— А в суд, думаешь, не подаст, батюшка? — спросила старушка.

— Можешь быть спокойна. Не такой человек. Считал он тебя, можно сказать, родной матерью, а как увидит, что оказалась сволочью, он просто плюнет и уйдет поскорее и ни о каких деньгах не вспомнит, ему смотреть на тебя противно будет, а не то что в суде еще с тобой разговаривать. А ты на этом деле целковых тридцать выгадаешь.

— Все сто, милый.

— Конечно, ежели бы на какого-нибудь жулика налетела, так тогда бы плакали твои денежки. И за такую штуку он бы тебя в бараний рог согнул, а раз с таким человеком дело имеешь, тут вали смело.

Старушка горестно, озабоченно смотрела перед собой в землю, собрав рот в горсть, потом, наконец, видимо, решившись, подняла привычным жестом руку ко лбу, чтобы перекреститься, как крестятся перед началом дела, но сейчас же как-то испуганно опустила ее и, вся потемнев, изменившимся голосом торопливо проговорила:

— Ну... делай, как говорил.

После вечернего чая, покрывшись платочком и перекрестившись на закрытую церковь, она потихоньку от постояльца пошла к дочери за реку.

Солнце уже светило мягким предвечерним светом, и по столбикам крыльца шли солнечные радуги от воды. А из огады доносилось свежее благоухание цветущих яблонь, которые от брызнувшего из облачка дождя сверкали прозрачными каплями на мокрых листьях и на снежно-розовых цветах.

1929

ПОРЯДОК

Среди немногих пассажиров в вагоне ехал рабочий, который перед каждой станцией просил сидевшего с ним на одной лавке румяного студента посмотреть за вещами, а сам исчезал и после второго звонка опять появлялся, на ходу утирая ребром ладони рот.

— Это прямо сил никаких нет, — не берет да и только, — сказал он.

— Что не берет? — спросил студент.

— Не пьянею отчего-то. На каждой станции прикладываюсь, и хоть бы что... Вот наказал бог!

— А разве хорошо, когда пьяный?

— Какой-там — хорошо, когда все нутро выворачивает.

— А зачем же нужно-то?

— Да домой еду, — ответил рабочий. — Вот шесть гривен как не было, а у меня в голове даже не шумит. Что ни рюмка — то гривенник. Теперь уж бутылку начать придется, вот еще рубль двадцать.

— Рад, что ли, что домой едешь? — спросил опять студент.

— Какой там — рад... жена больная лежит, а тут корову покупать надо, денег нету. А ведь у нас народ какой... ежели ты, скажем, человек работающий, хороший и все такое, а домой приехал трезвый, тихо, спокойно, со станции пришел пешочком, то тебе грош цена, никакого уважения, и смотреть на тебя никто не хочет. А ежели ты нализался до положения, гостинцев кому нужно и кому не нужно привез, да сам на извозчике приехал, — тебе — почет и всякое уважение.

— За что ж тут почет-то? — спросил студент.

— А вот спроси!.. Потому что темнота. Что глупей этого: денег и так мало, жена больная, а тут извольте пить да потом песни орать во все горло, как по деревне поедешь, да сквернословить. Хорошо это или нет? Человек я тихий, водки не люблю, безобразия тоже никакого не выношу, а что сделаешь?.. Все потому, что темнота окаянная.

— Что ж сделаешь — порядок, — сказал мужичок в новеньких лапотках, сидевший напротив.

Поезд остановился у станции. Рабочий высунулся в окно и посмотрел на платформу. Из вагона вылезали двое рабочих, оба пьяные. Один поддерживал другого. Они тащили волоком свои мешки по платформе и горланили песни.

— Вишь, вон, — сказал рабочий, кивнув в их сторону, — кому везет... Они, может, и выпили-то всего на грош с половиной, а шуму — не обещаться, от всех почтение: коли пьяны, значит хорошо заработали. А тут вот два целковых ухлопаешь, а толку нет.

— А может, напускают на себя? — сказал мужичок.

— Черт их знает! Может, и это. И отчего не берет, скажи, пожалуйста? — сказал опять рабочий, пожав плечами. — Уж без закуски пью, а все ничего толку. Только жжет нутро, пропади она пропадом, а больше ничего. Мать честная, скоро слезать!.. — прибавил он. — Намедни приехал трезвый, и пошли разговоры... К жене потом кумушки ее приходили и все спрашивали, ай меня с работы прогнали, ай я не люблю ее и бросать хочу. И чего только не наптели...

— Это, конечно, — сказал мужичок в лапотках, — всякому будет думаться: домой с работы человек приехал и трезвый — что-нибудь не так. Поди объясняй потом, а на тебя все будут поглядывать да про себя думать. Порядок не нами заведен — не нами и кончится.

— Может, для компании, старина, со мной выпьешь, а то одному уж очень противно, ей-богу. Главное дело, еще утро, добрые люди только на работу поднимаются, а тут изволь...

— Это можно, — сказал мужичок. — Я с молодых лет тоже плоховат на вино был, но с годами втянулся, теперь — ничего.

И он, запрокинув бороду вверх, стал, моргая и глядя в потолок, пить из горлышка.

Рабочий смотрел на него, как смотрит врач, давший больному мистуру.

— Ну, что? — спросил он, принимая бутылку.

Мужичок погладил живот и сказал:

— Взяло...

— Поди ж ты... На кого, значит, как... А у меня только и толку, что потом всего наизнанку выворачивает. Доктора говорили мне у нас в больнице, что катар у меня и ни капли мне пить нельзя.

— Здравому человеку, конечно, ничего, — сказал старичок, — а вот больному — тяжко.

— Прямо мука-мученская, — сказал рабочий, покачав головой и посмотрев на бутылку, которую он все держал в руках. — Вот сейчас до самого дома травиться буду. Ведь дохну прямо. Этак еще раза три домой съездил — и готов. А как приеду, значит, первое дело — родню поить. Самому беспреренно пьяным надо быть. Потом пойдем по всем кумовьям, там надо пить тоже как следует. А то обидя: сколько время не видались, а приехали — и буду трезвый в гостях сидеть.

— Как же можно, насмерть обидишь, — сказал старичок и сам уже попросил: — Дай-ка еще глоточек, мне уж немножко осталось, сейчас дойдет.

Рабочий сначала сам, запрокинув голову, отпил несколько глотков, потом утерев с отвращением рот, передал бутылку старичку.

Старичок пил, а он продолжал:

— И откуда эта темнота окаянная? Скажи, пожалуйста, от попов и от религии отрекись, от этих порядков никак не отмотаешься. Вот сейчас меня, к примеру, взять: заработал деньжонок, домой бы приехал, по хозяйству бы справил что-нибудь, корову, глядишь, купил бы, а вот чертовщины всякой везу. Одной колбасы полпуда! Ведь это с ума сойти надо! Да водки этой, пропади она пропадом, сколько. А сам драный хожу. Ой, мать честная, уж приехали? Что пил, что не пил... Ах, провалиться тебе, даже в голове ни чуточки не замутилось! Тьфу!

— Нет, я, кажись, слава богу, дошел, — сказал мужичок, — и на чужой счет и немного выпил, а вышло в препорцию.

Они собрали свои мешки и, когда поезд остановился, пошли выходить. Студент подошел к окну и стал смотреть на платформу.

Вдруг он увидел, что рабочий, поддерживаемый мужичком, шел, шатаясь по платформе, волоча мешок по земле, размахивая свободной рукой и пьяным голосом орал песни. Потом закричал:

— Извозчик! Подавай, с-сукин сын, ехать хочу! Чего собрались, туды вашу мать?! — крикнул он на стоявших и смотревших на него мужиков. — Ну, смотрите, не запрещаю!

Те посторонились и молча смотрели. А один, высокий, с черной курчавой бородой, сказал:

— Дошел, хорош.— Ах, сукин сын,— прямо земля не держит,— молодец! Чей-то такой?

— Семена Фролова из слободки.

— Здорово живет. Ах, сукин сын, погляди, что выделяет!

— Вот это не даром отец с матерью растили. Сейчас приедет домой— и себе удовольствие и другим радость. А тут гнешь, гнешь спину... Тьфу!

1926

БЕЛАЯ СВИНЬЯ

В деревню приехали сотрудники Союзмьяса для контрактации свиной.

В соседнем селе услышали об этом и, решив, что свиной будут отбирать бесплатно, порезали в одну ночь всех.

Осталась только у кузнеца одна большая белая свиная с черной отметиной на лбу.

Одна на всю деревню.

Он пожалел ее резать, решив положиться на судьбу.

А на другой день прошел слух, что с тех, кто порезал своих свиной, будет взыскан штраф, и, сверх того, они будут привлекаться к судебной ответственности за злостное уничтожение скота.

— Что ж теперь делать-то? — спросил кто-то.

— Что делать — теперь пропали все, окромя кузнеца: и деньги получит, и под суд не отдадут.

— С тебя, Пузырев, с первого начнут,— сказал шорник...— Кузнец пойдет самый последний, его изба на самом краю.

— Едут!..

Все стояли и в волнении ждали, когда подъедут контрактанты, как ждут приезда следственных властей на месте убийства.

Пузырев, которому предстояло отвечать первым, вдруг юркнул в избу, наткнулся в сенцах на жену, шепнул ей что-то и бросился по задворкам на конец деревни.

Мужики с недоумением посмотрели ему вслед.

— Неужто сбежать хочет?

— Сам сбежит, баба останется,— говорили в толпе.

Приезжие, два бритых человека в кепках, остановили лошадь у избы Пузырева.

Вдруг на дальнем конце села послышался пронзительный свиной визг.

Приезжие переглянулись друг с другом, на их посинелых от холода лицах показались довольные улыбки.

— Есть! Товарищ Холодков! — сказал один.

— Помолчи, — сказал другой и погрозил пальцем, как грозит опытный охотник увлекающемуся сподручному, слишком оживившемуся при первых признаках близкого присутствия зверя.

Хозяйка Пузырева вышла из избы и пригласила приезжих обогреться и закусить..

— А хозяин-то дома? — спросили приезжие, наливая замерзшими руками водку.

— Дома, — ответила хозяйка, — он скотине корму дает.

Наконец вошел запыхавшийся хозяин и, поздоровавшись с гостями, повесил шапку на гвоздь у двери.

— Ну как, хозяин, насчет свиней у вас? У тебя, хозяин, есть?

Набившиеся в избу мужики замерли.

— Как сказать... — ответил хозяин, — много не можем, а одну представить можно.

Мужики с недоумением переглянулись.

— Ну и ладно, сейчас по стаканчику выпьем, поглядим и законтракуем.

Приезжие выпили еще по стаканчику, надели кепки и, закусывая на ходу редькой, пошли на скотный двор.

Мужики чуть не ахнули: в закуте на свежей соломе лежала большая белая свинья с черной отметинкой на лбу.

— Хороша! Во сколько оценим, товарищ Холодков?

— 200 можно дать и 50 авансу.

— Ну, пиши. И наружность обозначь: белая свинья с черной отметинкой на лбу. Хорошо, что она с особой приметой. Уж эту с другими не спутаешь.

Мужик из соседней деревни, вместе с другими тоже зашедший на двор, вдруг бросился на улицу, сел на свою лошадь и во весь опор поскакал к своей деревне.

— Пойдем теперь в следующий двор.

В следующем дворе им предложили по стаканчику молочка деревенского. Когда они кончали молоко, в избу вошел хозяин, который где-то отстал, и сказал:

— Напрасно охлаждаете себя молочком-то, только что с холоду и в нутро пушать холод. Лучше по косушечке опрокинуть.

— А ведь и то... Дрожь какая-то начинается.

Хозяин налил контрактантам по стаканчику и, когда они выпили, сказал:

— Свинья дожидается. К приему готова.

Приезжие пошли во двор и в углу на чистой свежей соломе увидели большую белую свинью с черной отметинкой на лбу.

— Смотри, свинья в свинью! — воскликнул товарищ Белов.

— Они у нас родственники.

— Только эта как будто маленько побольше, — сказал товарищ Холодков и прибавил: — О мать честная, на голодный желудок, знать, здорово взяло.

— Эта на две недели будет постарше той, — сказал Кулажников.

— Сколько же за эту класть? — спросил Белов.

— Клади 200 и 70 авансу. Пометь наружность, чтоб не спутать с другими и чтоб не подменили. Что это у вас — водка, что ли, такая крепкая или оттого, что натошак?

— Известно, оттого что натошак.

— Сейчас бы первое дело кусочком свежинки закусить, — сказал Кочергин, следующий по очереди. И когда контрактанты пошли к нему, он мигнул вышедшей жене, а сам бросился обратно в закуту. Через минуту послышался отчаянный свиной визг, какой бывает, когда свинью тащат волоком, подхватив ее под передние ноги.

Товарищ Белов посмотрел с ослабевшей улыбкой на Холодкова и сказал:

— Попали на золотиносную жилу. Все наши московские магазины мясом завалим.

Он хотел чокнуться с товарищем, но промахнулся и, махнув рукой, выпил так.

Минут через десять в избу вошел хозяин и сказал, что свинья дождается.

Контрактанты, не сразу отыскав кепки, пошли.

А товарищ Белов, едва переступив порог, остановился, чем-то пораженный:

— Э, да тут целых две.

— Нет, одна, это натошак так кажется, — сказал один из мужиков, а хозяин избы злобно оглянулся на него и показал ему из-под полы кулак.

— Но эта одна двух стоит! Ох, и здорова. Ставь триста рублей, товарищ Холодков, без всякого разговору. И особую отметину поставь, чтоб не спутать: белая, с черной отметиной во лбу.

В следующем дворе были записаны две белые свиньи с черными отметинами. Причем товарищу Белову сначала показалось было четыре, но Холодков поправил его, для верности пощупав даже свиней руками, причем еще удивился, что щупает разных свиней, а руки у него все стелкуются.

— Вот дело-то пошло! — в восторге восклицал товарищ Белов.

Вдруг по дороге из соседней деревни показался мужик на телеге, гнавший лошадь во весь дух. Все узнали в нем того, который был здесь в момент приезда контрактантов. Остановившись у последнего кузнецового двора, приезжий вбежал, запыхавшись, в избу и крикнул:

— Ради господ, свинью скорей давай!

— Еще не отделалась, она у соседа принимает.

Обойдя пятьдесят дворов, контрактанты уселись за столом у кузнеца и, разложив перед собой ведомость, водили по ней неслушавшимися пальцами и говорили:

— Прямо голова лопается! После такой работы двое суток пить можно. Ведь это ежели всех этих свиней враз зарезать, целая гора мяса будет. Товарищ Холодков, пиши отношение.

Холодков взял карандаш, который все выкатывался у него из рук, и написал:

«Товарищ Никишин! Задыхаемся от свиней. Одних авансов выдали три с половиной тысячи. Свиньи все как на подбор, одно слово экспортные, сами черные, а на лбу белая отметинка. Стремительно едем дальше, ожидаем таких же успехов».

СОДЕРЖАНИЕ

Без черемухи	5
Черные лепешки	14
Голубое платье	23
Яблоневый цвет	32
Порядок	40
Белая свинья	43

Пантелеймон РОМАНОВ

БЕЗ ЧЕРЕМУХИ

Составитель сборника Н. В. Банников

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

Сдано в набор 109.88. Подписано к печати 26.10.88. А 10414.
Формат 70 × 108^{1/2}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсет-
ная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,01.
Тираж 150000 экз. Зак. № 3029. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● **ВЫРУЧИТ ПРОКАТ**

Необязательно иметь в хозяйстве все,
что может когда-нибудь
понадобиться.

Предстоит семейное торжество.
Посуды потребуется гораздо больше,
чем обычно.

Родился ребенок. Необходима
коляска, кроватка, манеж...

На даче не обойтись без
холодильника, газовой плитки,
раскладушки.

**ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ НА ВРЕМЯ,
УДОБНО БРАТЬ НАПРОКАТ!**

Росбытреклама